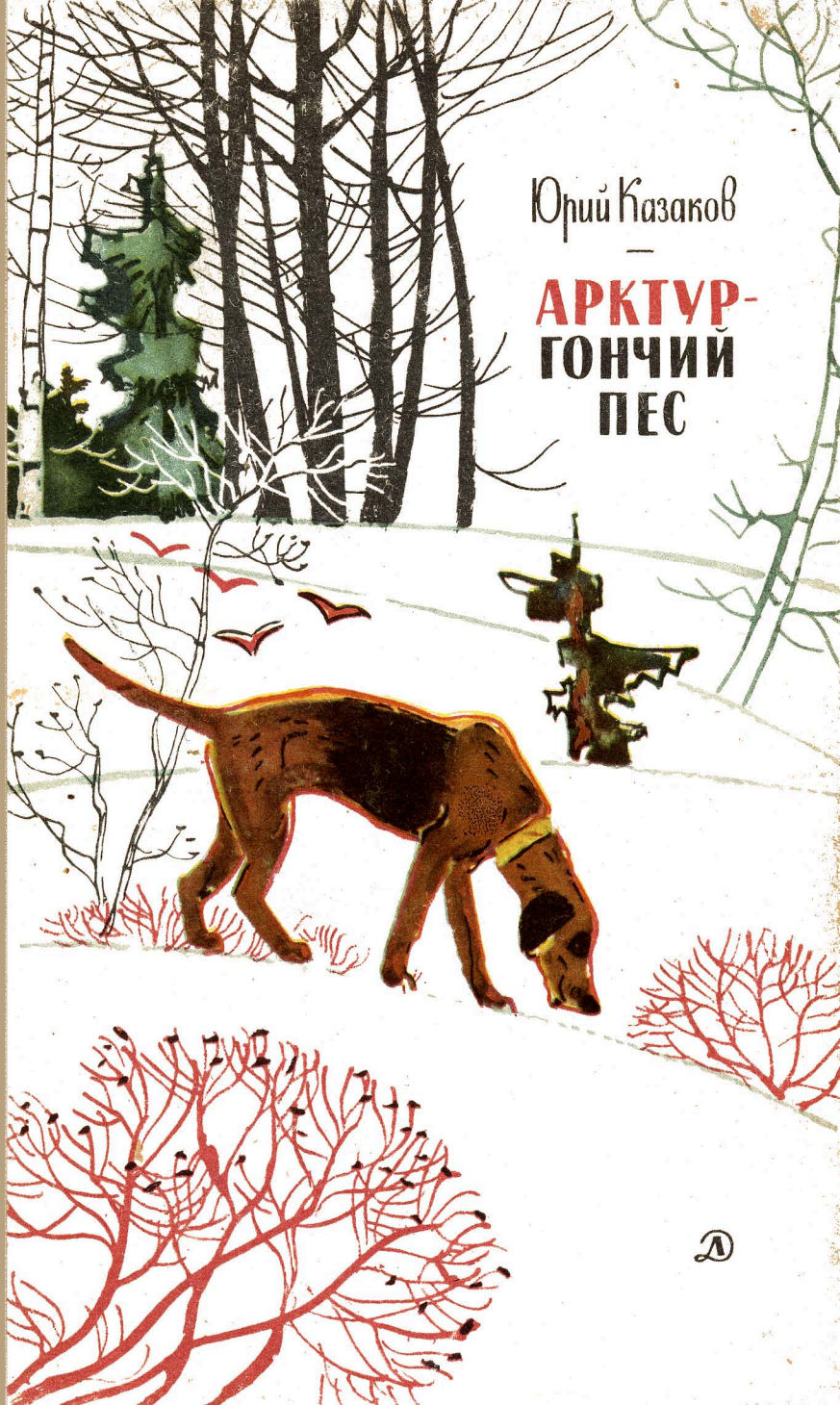


Юрий Казаков

—  
**АРКТУР-  
ГОНЧИЙ  
ПЕС**





Юрий Казаков  
**АРКТУР-ГОНЧИЙ ПЕС**

**РАССКАЗЫ**

Рисунки Т. Никольского

—  
Издательства  
**«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»**  
Москва - 1966

Автор этой книги, Ю. П. Казаков,—отличный мастер слова. Его язык богат, точен и поэтичен. Читатели найдут в его рассказах близкое и понятное, то, что они чувствуют, но не умеют сказать. Для этого и существуют поэты — чтобы найти слова, которые ты хотел бы, но не можешь найти. Как и каждый подлинный писатель, Юрий Казаков, конечно, поэт. Как и у каждого настоящего писателя, его проза имеет свою характерную интонацию, она льется как мелодия. Читать ее надо медленно, может быть, даже вслух. Его рассказы, даже грустные, оставляют ощущение полноты и счастья жизни. Они учат любить жизнь, любить человека.

С особой нежностью рисует Ю. Казаков природу северного края, которая раскрывает людям тайны «своей немой души», и жителей этого края — людей суровых, сильных и талантливых.



## АРКТУР — ГОНЧИЙ ПЕС

### 1

История появления его в городе осталась неизвестной. Он пришел весной откуда-то и стал жить.

Говорили, что его бросили проезжавшие цыгане.

Странные люди — цыгане. Ранней весной они трогаются в путь. Одни едут на поездах, другие — на пароходах или плотах, третьи плетутся по дорогам в телегах, неприязненно посматривая на проносящиеся мимо автомашины. Люди с южной кровью, они забираются в самые глухие северные углы. Внезапно становятся табором под городом, несколько дней слоняются по ба-

зару, щупают вещи, торгуются, ходят по домам, гадают, ругаются, смеются, — смуглые, красивые, с серьгами в ушах, в ярких одеждах. Но вот уходят они из города, исчезают так же внезапно, как и появились, и уж никогда не увидеть их здесь. Придут другие, но этих не будет. Мир широк, а они не любят приходить в места, где уже раз побывали.

Итак, многие были убеждены, что его бросили весной цыгане.

Другие говорили, что он приплыл на льдине в весеннее половодье. Он стоял, черный, среди бело-голубого крошева, один неподвижный среди общего движения. А наверху летели лебеди и кричали: «Клинк-кланк!»

Люди всегда с волнением ждут лебедей. И когда они прилетают, когда на рассвете поднимаются с разливов со своим великим весенним кличем «клинк-кланк», люди провожают их глазами, кровь начинает звенеть у них в сердце, и они знают тогда, что пришла весна.

Шурша и глухо лопаясь, шел по реке лед, кричали лебеди, а он стоял на льдине, поджав хвост, настороженный, неуверенный, внюхиваясь и вслушиваясь в то, что делалось кругом. Когда льдина подошла к берегу, он заволновался, неловко прыгнул, попал в воду, но быстро выбрался на берег и, отряхнувшись, скрылся среди штабелей леса.

Так или иначе, но, появившись весной, когда дни наполнены блеском солнца, звоном ручьев и запахом коры, он остался жить в городе.

О его прошлом можно только догадываться. Наверно, он родился где-нибудь под крыльцом, на соломе. Мать его, чистокровная сука из породы костромских гончих, низкая, с длинным телом, когда пришла пора, исчезла под крыльцом, чтобы совершить свое великое дело втайне. Ее звали, она не откликалась и ничего не ела, вся сосредоточенная в себе, чувствуя, что вот-вот должно совершиться то, что важнее всего на свете, важнее даже охоты и людей...

Он родился, как и все щенки, слепым, был тотчас облизан матерью и положен поближе к теплему животу, еще напряженному в родовых схватках. И пока он лежал, привыкая дышать, у него все прибавлялись братья и сестры. Они шевелились, кряхтели и пробовали скулить — такие же, как и он, дымчатые щенки с го-

лыми животами и короткими дрожащими хвостиками. Скоро все кончилось, все нашли по соску и затихли: раздавалось только сопенье, чмоканье и тяжелое дыхание матери. Так началась их жизнь.

В свое время у всех щенят прорезались глаза, и они узнали с восторгом, что есть мир, еще более великий, чем тот, в котором они жили до сих пор. У него тоже открылись глаза, но ему никогда не суждено было увидеть свет. Он был слеп, бельма толстой серой пленкой закрывали его зрачки.

Для него настала горькая и трудная жизнь. Она была бы даже ужасной, если бы он мог осознать свою слепоту. Но он не знал того, что слеп, ему не дано было знать. Он принимал жизнь такой, какой она досталась ему.

Как-то случилось, что его не утопили и не убили, что было бы, конечно, милосердием по отношению к беспомощному, ненужному людям щенку. Он остался жить и претерпел великие мытарства, которые раньше времени закалили и ожесточили его.

У него не было хозяина, который дал бы ему кров, кормил бы его и заботился о нем, как о своем друге. Он стал бездомным псом-бродягой, угрюмым, неловким и недоверчивым. Мать, выкормив его, скоро потеряла к нему, как и к его братьям, всякий интерес. Он научился выть, как волк, так же длинно, мрачно и тоскливо. Он был грязен, часто болел, рылся на свалках возле столовых, получал пинки и ушаты грязной воды наравне с такими же бездомными и голодными собаками.

Он не мог быстро бегать, ноги, его крепкие ноги, в сущности, не были ему нужны. Все время ему казалось, что он бежит навстречу чему-то острому и жесткому. Когда он дрался с другими собаками — а дрался он множество раз на своем веку, — он не видел своих врагов, он кусал и бросался, ориентируясь на шум дыхания, на рычание и визг, на шорох земли под лапами врагов, и часто бросался и кусал впустую.

Неизвестно, какое имя дала ему мать при рождении, — для людей он не имел имени. Неизвестно также, остался бы он жить в городе, ушел бы или сдох где-нибудь в овраге, но в судьбу его вмешался человек, и все переменялось.

В то лето я жил в маленьком северном городе. Город стоял на берегу реки. По реке плыли белые пароходы, грязно-бурые баржи, длинные плоты, широко-скулые карбасы с запачканными черной смолой бортами. У берега стояла пристань, пахнущая рогожей, канатом, сырой гнилью и воблой. На пристани этой редко кто сходил, разве только пригородные колхозники в базарный день да командировочные в серых плащах, приезжавшие из области на лесозавод.

Вокруг города по низким, пологим холмам раскинулись леса, могучие, нетронутые: лес для сплава рубили в верховьях реки. В лесах попадались большие луговины и глухие озера с огромными старыми соснами по берегам. Сосны все время тихонько шумели. Когда же с Ледовитого океана задувал прохладный, влажный ветер, нагоняя тучи, сосны грозно гудели и роняли шишки, которые крепко стучались о землю.

Я снял комнату на окраине, на верху старого дома. Хозяин мой, доктор, был вечно занятый, молчаливый человек. Раньше он жил с большой семьей, но двух сыновей его убили на фронте, жена умерла, дочь уехала в Москву, и доктор жил теперь один и лечил детей. Была у него одна странность: он любил петь. Тончайшей фистулой он вытягивал всевозможные арии, сладостно замирая на высоких нотах. Внизу у него были три комнаты, но он редко заходил туда, обедал и спал на террасе, а в комнатах было сумрачно, пахло пылью, аптекой и старыми обоями.

Окно моей комнаты выходило в одичавший сад, заросший смородиной, малиной, лопухом и крапивой вдоль забора. По утрам за окном возились воробьи, тучами налетали дрозды клевать смородину — доктор не гонял их и ягоду не собирал. На забор иногда взлетали соседские куры с петухом. Петух громогласно пел, вытягивая кверху шею, дрожал хвостом и с любопытством смотрел в сад. Наконец он не выдерживал, слетал вниз, за ним слетали куры и поспешно начинали рыться возле смородиновых кустов. Еще в сад забредали коты и, затаившись возле лопухов, следили за воробьями.

Я жил в городе уже недели две, но все никак не мог привыкнуть к тихим улицам с деревянными тротуара-

ми с прорастающей меж досок травой, к скрипучим ступеням лестницы, к редким гудкам пароходов по ночам.

Это был необычный город. Почти все лето стояли в нем белые ночи. Набережная и улицы его были негромки и задумчивы. По ночам возле домов раздавался отчетливый дробный стук — это шли рабочие с ночной смены. Шаги и смех влюбленных всю ночь слышались спящим. Казалось, что у домов чуткие стены и что город, притаившись, вслушивается в шаги своих обитателей.

Ночью наш сад пах смородиной и росой, с террасы доносился тихий храп доктора. А на реке бубнил мотором катер и пел гнусавым голосом: «Ду-ду-ду...»

Однажды в доме появился еще один обитатель. Вот как это произошло. Возвращаясь как-то с дежурства, доктор увидел слепого пса. С обрывком веревки на шее он сидел, забившись между бревнами, и дрожал. Доктор и раньше несколько раз видел его. Теперь он остановился, рассмотрел его во всех подробностях, почмокал губами, посвистал, потом взялся за веревку и потащил слепого к себе домой.

Дома доктор вымыл его теплой водой с мылом и накормил. По привычке, пес вздрагивал и поджимался во время еды. Ел он жадно, спешил и давился. Лоб и уши его были покрыты побелевшими рубцами.

— Ну, теперь ступай! — сказал доктор, когда пес наелся, и подтолкнул его с террасы.

Пес уперся и задрожал.

— Гм!.. — произнес доктор и сел в качалку.

Наступал вечер, небо потемнело, но не гасло совсем. Загорелись самые крупные звезды. Гончий пес улегся на террасе и задремал. Он был худ, ребра выпирали, спина была острой, и лопатки стояли торчком. Иногда он приоткрывал свои мертвые глаза, настораживал уши и поводил головой, принюхиваясь. Потом снова клал морду на лапы и закрывал глаза.

А доктор растерянно рассматривал его и ерзал в качалке, придумывая ему имя. Как его назвать? Или лучше избавиться от него, пока не поздно? На что ему собака? Доктор задумчиво поднял глаза: низко над горизонтом переливалась синим блеском большая звезда.

— Арктур... — пробормотал доктор.



Пес шевельнул ушами и открыл глаза.

— Арктур! — снова сказал доктор с забившимся сердцем.

Пес поднял голову и неуверенно замотал хвостом.

— Арктур! Иди сюда, Арктур! — уже властно и радостно позвал доктор.

Пес встал, подошел и осторожно ткнулся носом в колени хозяину. Доктор засмеялся и положил руку ему на голову.

Собаки бывают разные, как и люди. Есть собаки нищие, побирушки, есть свободные и угрюмые бродяги, есть глупо-восторженные брехуны. Есть унижающиеся, вымаливающие подачки, подползающие к любому, кто свистнет им. Извивающиеся, виляющие хвостом, рабски умильные, они бросаются с паническим визгом прочь, если ударить их или даже просто замахнуться.

Много я видел преданных собак, собак покорных, капризных, гордецов, стойков, подлиз, равнодушных, лукавых и пустых. Арктур не был похож ни на одну из них. Чувство его к своему хозяину было необыкновенным и возвышенным. Он любил его страстно и поэтично, быть может, больше жизни. Но он был целомудрен и редко позволял себе раскрываться до конца.

У хозяина бывало минутами плохое настроение, иногда он был равнодушным, часто от него раздражающе пахло одеколоном — запахом, никогда не встречающимся в природе. Но чаще всего он был добр, и тогда Арктур изнывал от любви, шерсть его становилась пушистой, а тело кололо как бы иголками. Ему хотелось вскочить и помчаться, захлебываясь радостным лаем. Но он сдерживался. Уши его распускались, хвост оставливался, тело обмякало и замирало, только громко и часто колотилось сердце. Когда же хозяин начинал толкать его, щекотать, гладить и смеяться прерывистым, воркующим смехом, что это было за наслаждение! Звуки голоса хозяина были тогда протяжными и короткими, булькающими и шепчущими, они были сразу похожи на звон воды и на шелест деревьев и ни на что не похожи. Каждый звук рождал какие-то искры и смутные запахи, как капля рождает дрожь воды, и Арктуру казалось, что все это уже было с ним, было так давно, что он никак не мог вспомнить, где же и когда.

В скором времени я получил возможность поближе познакомиться с жизнью Арктура и узнал много любопытного. Мне кажется теперь, что он как-то ощущал свою неполноценность. С виду он был совсем взрослой собакой, с крепкими ногами, черной спиной и рыжими подпалинами на животе и на морде. Он был силен и велик для своего возраста, но во всех движениях его сквозили неуверенность и напряженность. И еще морде его и всему телу была свойственна сконфуженная вопрошательность. Он прекрасно знал, что все живые существа, окружающие его, свободнее и стремительнее, чем он. Они быстро и уверенно бегали, легко и твердо ходили, не спотыкаясь и не натыкаясь ни на что. Шаги их по звуку отличались от его шагов. Сам он двигался всегда осторожно, медленно и несколько боком — многочисленные предметы преграждали ему путь. Между тем куры, голуби, собаки и воробьи, кошки и люди и многие другие животные смело избегали по лестницам, перепрыгивали через канавы, сворачивали в переулки, улетали, исчезали в таких местах, о которых он и понятия не имел. Его же уделом были неуверенность и настороженность. Я никогда не видел его идущим или бегущим свободно, спокойно и быстро. Разве только по широкой дороге, по лугу да по террасе нашего дома... Но если животные и люди были еще понятны ему и он, наверно, как-то отождествлял себя с ними, то автомашины, тракторы, мотоциклы и велосипеды были ему совсем непонятны и страшны. Пароходы и катера возбуждали в нем огромное любопытство на первых порах. И лишь поняв, что ему никогда не разгадать этой тайны, он перестал обращать на них внимание. Точно так же никогда не интересовался он самолетами.

Но если не мог он ничего увидеть, зато в чутье не могла с ним сравниться ни одна собака. Постепенно он изучил все запахи города и прекрасно ориентировался в нем. Не было случая, чтобы он заблудился и не нашел дорогу домой. Каждая вещь пахла! Запахов было множество, и все они звучали, как музыка, все они громко заявляли о себе. Каждый предмет пах по-своему: одни неприятно, другие безлично, третьи сладостно. Стоило Арктуру поднять голову и понюхать, и он сразу же

ощущал свалки и помойки, дома, каменные и деревянные, заборы и сарай, людей, лошадей и птиц так ясно, как будто видел все это.

Был на берегу реки, за складами, большой серый камень, почти вросший в землю, который Арктур особенно любил обнюхивать. В его трещинах и порах задерживались самые удивительные и неожиданные запахи. Они держались иной раз неделями, их мог выдуть только сильный ветер. Каждый раз, пробегая мимо этого камня, Арктур сворачивал к нему и долго занимался обследованием. Он фыркал, приходил в возбуждение, уходил и снова возвращался, чтобы выяснить для себя дополнительную подробность.

И еще он слышал тончайшие звуки, каких мы никогда не услышим. Он просыпался по ночам, раскрывал глаза, поднимал уши и слушал. Он слышал все шорохи за многие версты вокруг. Он слышал пение комаров и зудение в осином гнезде на чердаке. Он слышал, как шуршит в саду мышь и тихо ходит кот по крыше сарая. И дом для него не был молчаливым и неживым, как для нас. Дом тоже жил: он скрипел, шуршал, потрескивал, вздрагивал чуть заметно от холода. По водосточной трубе стекала роса и, скапливаясь внизу, падала на плоский камень редкими каплями. Снизу доносился невнятный плеск воды в реке. Шевелился толстый слой бревен в запани около лесозавода. Тихо поскрипывали уключины — кто-то переплывал реку в лодке. И совсем далеко, в деревне, слабо кричали петухи по дворам. Это была жизнь, вовсе не ведомая и не слышная нам, но знакомая и понятная ему.

И еще была у него одна особенность: он никогда не визжал и не скулил, напрашиваясь на жалость, хотя жизнь была жестока к нему.

Однажды я шел по дороге из города. Вечерело. Было тепло и тихо, как бывает у нас только летними спокойными вечерами. Вдали на дороге поднималась пыль, слышалось мычание, тонкие, протяжные крики, хлопанье кнутов: с лугов гнали стадо.

Внезапно я заметил собаку, бежавшую с деловитым видом по дороге навстречу стаду. По особенному, напряженному и неуверенному бегу я сразу узнал Арктур. Раньше он никогда не выбирался за пределы города. «Куда это он бежит?» — подумал было я и заме-

тил вдруг в приблизившемся уже стаде необычайное волнение.

Коровы не любят собак. Страх и ненависть к волкам-собакам стали у коров врожденными. И вот, увидев бегущую навстречу темную собаку, первые ряды сразу остановились. Сейчас же вперед протиснулся приземистый палевый бык с кольцом в носу. Он расставил ноги, пригнул к земле рога и заревел, икая, дергая кожей, выкатывая кровавые белки.

— Гришка! — закричал кто-то сзади. — Бежи скорее вперед, коровы ста-али!

Арктур, ничего не подозревая, своей неловкой рысью подвигался по дороге и был уже совсем близко к стаду. Испугавшись, я позвал его. С разбегу он пробежал еще несколько шагов и круто осел, поворачиваясь ко мне. В ту же секунду бык захрипел, с необычайной быстротой бросился на Арктур и поддел его рогами. Черный силуэт собаки мелькнул на фоне зари и шлепнулся в самую гущу коров. Падение его произвело впечатление разорвавшейся бомбы. Коровы бросились в стороны, хрипя и со стуком сшибаясь рогами. Задние напирали вперед, все смешалось, пыль поднялась столбом. С напряжением и болью ожидал я услышать предсмертный визг, но его не было.

Тем временем подбежали пастухи, захлопали кнутами, закричали на разные голоса, дорога расчистилась, и я увидел Арктур. Он валялся в пыли и сам казался кучей пыли или старой тряпкой, брошенной на дороге. Потом он зашевелился, поднялся и, шатаясь, заковылял к обочине. Старший пастух заметил его.

— Ах, собака! — злорадно закричал он, выругался и очень сильно и ловко стегнул Арктур кнутом.

Арктур не взвизгнул, он только вздрогнул, повернув на мгновение к пастуху слепые глаза, добрался до канавы, оступился и упал.

Бык стоял поперек дороги, взрывал землю и ревел. Пастух стегнул и его так же сильно и ловко, после чего бык сразу успокоился. Успокоились и коровы, и стадо не спеша, поднимая пахнущую молоком пыль и оставляя на дороге лепехи, тронулось дальше.

Я подошел к Арктур. Он был грязен и тяжело дышал, вывалив язык, ребра ходили под кожей. На боках его были какие-то мокрые полосы. Задняя лапа, отдав-

ленная, дрожала. Я положил ему руку на голову, заговорил с ним. Он не отозвался. Все его существо выражало боль, недоумение и обиду. Он не понимал, за что его топтали и стегали. Обычно собаки сильно скулят в таких случаях. Арктур не скулил.

4

И все-таки Арктур так и остался бы домашним псом и, может быть, разжирел бы и обленился, если бы не счастливый случай, который придал всей его дальнейшей жизни возвышенный и героический смысл.

Случилось это так. Я пошел утром в лес посмотреть на прощальные вспышки лета, за которыми, я уже знал, начнется скорое увядание. За мною увязался Арктур. Несколько раз я прогонял его. Он садился в отдалении, немного пережидал и снова бежал за мной. Скоро мне надоело его непонятное упорство, и я перестал обращать на него внимание.

Лес ошеломил Арктура. В городе все ему было знакомо. Там были деревянные тротуары, широкие мостовые, доски на берегу реки, гладкие тропинки. Здесь же со всех сторон подступили вдруг к нему незнакомые предметы: высокая, жестковатая уже трава, колючие кусты, гнилые пни, поваленные деревья, упругие молодые елочки, шуршащие опавшие листья. Со всех сторон его что-то трогало, кололо, задевало, будто сговорилось прогнать из леса. И потом — запахи, запахи! Сколько их, незнакомых, страшных, слабых и сильных, значения которых он не знал! И Арктур, натываясь на все эти пахучие, шелестящие, потрескивающие, колючие предметы, вздрагивал, фукал носом и жался к моим ногам. Он был растерян и напуган.

— Ах, Арктур! — тихонько говорил я ему. — Бедный ты пес! Не знаешь ты, что на свете есть яркое солнце, не знаешь, какие зеленые по утрам деревья и кусты и как сильно блестит роса на траве; не знаешь, что вокруг нас полно цветов — белых, желтых, голубых и красных — и что среди седых елей и желтеющей листвы так нежно краснеют гроздья рябины и ягоды шиповника. Если бы ты видел по ночам луну и звезды, ты, может быть, с удовольствием полаял бы на них.

Откуда тебе знать, что лошади, и собаки, и кошки — все разных цветов, что заборы бывают коричневыми, и зелеными, и просто серыми и как сильно блестят стекла окон при закате, каким огненным морем разливается тогда река! Если бы ты был нормальным, здоровым псом, то хозяином твоим был бы охотник. Ты слушал бы тогда по утрам могучую песнь рога и дикие голоса, какими никогда не кричат обыкновенные люди. Ты гнал бы тогда зверя, захлебываясь лаем, не помня себя, и этим неистовым бегом по горячему следу ты служил бы своему владыке — охотнику, и выше этой службы не было бы ничего для тебя. Ах, Арктур, бедный ты пес!

Так потихоньку разговаривая с ним, чтобы ему было не так страшно, я все дальше уходил в лес. Арктур мало-помалу успокаивался и начинал смелее обследовать кусты и пни. Сколько нового и необычного находил он, какой восторг охватывал его! Теперь он, увлеченный своим важным делом, уже не прижимался ко мне. Изредка только он останавливался, взглядывал в мою сторону мертвыми белыми глазами, прислушивался, желая удостовериться, правильно ли он поступает, иду ли я за ним, потом опять принимался кружить по лесу.

Скоро мы вышли на луг и пошли мелочами. Страшное волнение охватило Арктура. Кусая траву, спотыкаясь на кочках, он мелькал среди кустов. Он громко дышал, лез напролом, не обращая больше внимания ни на меня, ни на колючие ветки. Наконец он не выдержал, зажмурился, с треском сунулся в кусты, пропал там, завозился, зафукал... «Кого-то причуял!» — подумал я и остановился.

«Гам! — звонко и неуверенно раздалось в кустах. — Гам, гам!»

— Арктур! — в беспокойстве позвал я.

Но в этот момент что-то случилось. Арктур завизжал, завыл и с шумом ринулся в глубь кустов. Вой его быстро перешел в азартный лай, и по вздрагивающим беркушкам кустов мне было видно, как он там продирается. Испугавшись за него, я бросился наперехват, громко окликаю его. Но мой крик, видимо, придавал ему только азарта. Спотыкаясь, застревая в густоте, задыхаясь, перебежал я одну поляну, потом другую,

спустился в лощину, выбежал на чистое место и сразу увидел Арктура. Он выкатился из кустов и мчался прямо на меня. Он был неузнаваем, бежал смешно, подпрыгивая, не так, как бегают обыкновенно собаки, но тем не менее гнал уверенно, азартно, лалял беспрестанно, захлебываясь, срываясь на тонкий щенячий голос.

— Арктур! — крикнул я.

Он сбился с хода. Я успел подскочить и схватить его за ошейник. Он рвался, рычал, чуть не укусил меня, глаза его налились кровью, и мне великого труда стоило успокоить и отвлечь его. Он был сильно помят и поцарапан, держал левое ухо к земле: видимо, он все-таки ударился где-то несколько раз, но так велика была его страсть, так был он возбужден, что и не почувствовал этих ушибов.

## 5

С этого дня жизнь его пошла другим чередом. С утра он пропадал в лесу, убегал туда один и возвращался иногда к вечеру, иногда на следующий день, каждый раз совершенно измученный, избитый, с налившимися кровью глазами. Он сильно вырос за это время, грудь раздалась, голос окреп, лапы стали сухими и мощными, как стальные пружины.

Как он гонял там один, как не разбивался, этого я не мог понять. Он, наверно, чувствовал все-таки, что в его одиноких охотах чего-то не хватает. Может быть, он ждал одобрения, поддержки со стороны человека, которые так необходимы каждой гончей собаке.

Я ни разу не видел его вернувшимся из лесу сытым. Бег его, бег слепой, неловкой собаки, конечно же, был медлительным и неуверенным. Нет, никогда не догонял он своих врагов и не вонзал в них зубы! Лес был ему молчаливым врагом, лес стегал его по морде, по глазам, лес бросался ему под ноги, лес останавливал его. Только запах, дикий, вечно волнующий, зовущий, нестерпимо прекрасный и враждебный запах доставался ему, только один след среди тысячи других вел его все вперед и вперед.

Как находил он дорогу домой, очнувшись от бешеного бега, от великих грез? Какое чувство пространства и топографии, какой великий инстинкт нужен был

ему, чтобы, очнувшись совершенно обессиленным, разбитым, задохнувшимся, сорвавшим голос где-нибудь за много верст в глухом лесу с шорохом трав и запахом сырых оврагов, добраться до дому!

Каждой гончей собаке необходимо одобрение человека. Собака гонит зверя и забывает все, но даже в момент наивысшей страсти она знает, что где-то там, впереди, охваченный такой же страстью, перебегает по лапам ее хозяин-охотник и что, когда придет пора, его выстрел решит все. В такие минуты голос хозяина дичает и заражает собаку. Он тоже лазит по кустам, бежит, хрипло порскает, помогает собаке распутать след. А когда все кончено, хозяин бросает собаке пазанки, смотрит на нее хмельными глазами, кричит с восторгом: «Но, ты! Мил-лая!» — и треплет за уши.

Арктур был одинок в этом смысле и страдал. Любовь к хозяину боролась в нем с охотничьей страстью. Несколько раз я видел, как ранним утром Арктур вылезал из-под террасы, где любил спать, побегав по саду, садился под окном своего хозяина и принимался ждать его пробуждения. Так делал он всегда раньше, и, если доктор, проснувшись в хорошем настроении, выглядывал в окно и звал: «Арктур!» — что тогда выделял этот пес! Торжественно он подходил к самому окну, задирал вверх голову с подергивающимся горлом и покачивался, переступая с лапы на лапу. Потом он проникал в дом, там начиналась какая-то возня, слышались счастливые звуки, арии доктора и топот по комнатам.

Он и теперь ждал пробуждения доктора. Но теперь что-то другое сильно беспокоило его. Он нервно подрагивал, встряхивался, почесывался, поглядывал вверх, вставал, опять садился и принимался тихонько скулить. Потом начинал бегать возле террасы, делая все большие круги, опять садился под окном, даже коротко взлаивал от нетерпения и, насторожив уши и наклоня попеременно голову то на одну, то на другую сторону, долго прислушивался. Наконец он вставал, нервно потягивался, зевал, направлялся к забору и решительно вылезал в дыру. Немного спустя я видел его далеко в поле трусящим своей ровной, несколько напряженной и неуверенной рысью. Направлялся он к лесу.



Как-то раз я шел с ружьем по высокому берегу узкого озера. Утки в тот год необычайно разжирили, их было много, в низинах часто попадались бекасы, и охота была легкой и радостной.

Выбрав пень поудобней, я присел отдохнуть, и, когда стих набежавший перед тем легкий ветерок и наступил миг чистейшей задумчивой тишины, я услышал очень далеко странные звуки. Было похоже, будто кто-то равномерно бил в серебряный колокол, и этот теплый малиновый звон, путаясь в ельниках, усиливаясь в борах, разносился по всему лесу, настраивая все на торжественный лад. Постепенно звуки стали определяться, и, сосредоточившись, я понял, что где-то лает собака. Лай, доносившийся с противоположного берега озера, из глуши сосновых лесов, был чист, слаб и далек. Иногда он пропадал совсем, но потом опять упорно возобновлялся, немного ближе и громче.

Я сидел на пне, поглядывал кругом на желтые, засквозившие уже березы, на поседевший мох и далеко видные на нем багряные листья осины, слушал серебряный лай, и мне казалось, что вместе со мной его слушают затаившиеся белки, тетерева, и березы, и тесные зеленые елки, и озеро внизу, и вздрагивает сотканная пауками паутина. Скоро в этом прекрасном музыкальном лае мне почудилось что-то знакомое, и я понял вдруг, что это гонит Арктур.

Так вот когда пришлось мне услышать его! Слабое серебряное эхо отдавалось от сосен, и от этого казалось, что лают несколько собак. Один раз Арктур, видимо, потерял след и замолчал. Долгие минуты длилось его молчание, лес сразу стал пустым и мертвым. Я как бы видел, как кружит пес, помаргивая белыми глазами, доверяясь одному только чутью. А может, он ударился о дерево? Может быть, он лежит сейчас с разбитой грудью, не в силах подняться, окровавленный и тоскующий?

Но гон возобновился с новой силой, уже значительно ближе к озеру. Озеро это так расположено, что все тропы, все лазы ведут к нему, ни один не пройдет мимо. Много интересного видел я возле этого озера. Теперь я

тоже приготовился и ждал. Скоро на небольшую, бурю от конского щавеля луговину на другой стороне выскочила лиса. Она была грязно-серой, с мочалистым тонким хвостом. На мгновение она остановилась с поднятой передней лапой, поставив торчком уши, и вслушалась в приближавшийся гон. Потом, неторопливо пробежав луговиной, пошла на опушку, нырнула в овраг и ёкрылась в мелкоколесье. Сейчас же на луговину вылетел и Арктур. Он шел немного стороной от следа, беспрестанно и зло подавал голос и, как всегда, высоко и неловко прыгал на бегу. Следом за лисой он слетел в овраг, сунулся в мелкоколесье, завизжал и завыл там, замолчал, выбираясь из какого-то трудного места, потом опять залаял низко и равномерно, будто забил в серебряный колокол.

Как в странном театре, промелькнули передо мной вечно враждующие собака и зверь, исчезли, и я опять остался один с тишиной и далеким лаем.

7

Слава о необыкновенном гончем псе скоро разнеслась по городу и по всей округе. Его видели на далекой реке Лосьве, в полях за лесными холмами, на самых глухих лесных дорогах. О нем говорили в деревнях, на пристанях и перевозе, о нем спорили за кружкой пива сплавщики и рабочие лесозавода.

К нам в дом стали наведываться охотники. Как правило, они не верили слухам — они по себе знали цену охотничьим рассказам. Они осматривали Арктура, рассуждали о его ушах и лапах, о его вязкости и других охотничьих статях. Они выискивали у него недостатки и уговаривали доктора продать им собаку. Им страшно хотелось пощупать мышцы Арктура, посмотреть его лапы и грудь, но Арктур сидел у ног доктора такой хмурый и настороженный, что никто не осмеливался протянуть к нему руку. А доктор, краснея и сердясь, в десятый раз уверял, что собака непродажная, что пора бы всем знать об этом. Охотники уходили огорченные, и на смену им приходили другие.

Однажды Арктур, накануне сильно разбившийся, лежал под террасой, когда в саду появился старик. Ле-

рый глаз его вытек и затянулся, татарская бородка сквѣзила, на голове был мятый треух, на ногах — сбитые охотничьи сапоги. Увидев меня, старик заморгал, стащил шапку с головы, поскреб голову и посмотрел на небо.

— Погоды-то ныне, погоды... — неопределенно начал он и, крикнув, умолк.

Я догадался и спросил:

— Не за собачкой ли пришли?

— Да и как же! — оживился он и надел шапку. — Ведь это что, к примеру, получается? На что доктору собака? Ни к чему она ему, а мне вот как нужна собачка! Скоро охоты и все такое... У меня, слышь, у самого есть гончак, да плох: дурак, след не держит и голосу никакого. А ведь это что? Сляпой-то, а? Ведь это уму непостижимо, как выганивает! Царская собака, вот те крест святой!

Я посоветовал ему поговорить с хозяином. Он вздыхал, высморкался и ушел в дом, а через пять минут появился очень красный и растерянный. Остановился рядом со мной, крихтел, долго закуривал. Потом нахмурился.

— Что ж, отказали вам? — спросил я, заранее зная ответ.

— И не говори! — огорченно воскликнул он. — Ну что ты скажешь! Я с малолетства охотник — во, вишь, глаз потерял, — и сыновья у меня тоже, и все такое. Нам, слышь, для дела собачка нужна, для де-ела! Нет, не дает... Пятьдесят рублей сулил — цена-то какова, а? — и не подходи, не дает! Чуть не заревил, а? Это мне ревить надо! Охоты подходят — собаки нет!

Он растерянно оглядел сад, забор, и вдруг на лице его что-то мелькнуло, что-то такое хитрое и умное. Он сразу стал спокойнее.

— Она где же помещается у вас? — как бы невзначай поинтересовался он и замигал глазом.

— Уж не украсть ли собачку хотите? — спросил я.

Старик смутился, снял шапку, подкладкой вытер лицо и пытливо глянул на меня.

— Прости господи! — сказал он и засмеялся. — Ведь так с вами и до греха дойдешь. А ты думал! Ну на что ему собака? Скажи ты вот!

Он тронулся было к выходу, но по дороге остановился и радостно посмотрел на меня:

— А голос-то, го-олос! Понимаешь ты — голос! Чистый ключ, я тебе говорю!

Потом вернулся, подошел ко мне и зашептал, подмигивая и косясь на окна дома:

— погоди, собачка-то моя будет. На что ему собака? Человек он умственный, не охотник... Продаст он мне ее. Святой крест, продаст! До покрова-то далеко, чего-нибудь удумаем. А ты говоришь... Эх!

Едва старик ушел, в сад быстро вышел доктор.

— Что он тут вам говорил? — волновался он. — Ах, какой противный старикашка! Какой у него глаз, вы заметили? Прямо разбойничий! И откуда он узнал о собаке?

Доктор нервно потирал руки, шея у него покраснела, седая прядка свалилась на лоб. Арктур, услышав голос своего хозяина, выполз из-под террасы и, прихрамывая, подошел к нам.

— Арктур! — сказал доктор. — Ты ведь мне никогда не изменишь?

Арктур закрыл глаза и ткнулся носом доктору в колени. Он не мог стоять от слабости и сел. Голову его тянуло книзу, он почти спал. Доктор радостно посмотрел на меня, засмеялся и потрепал Арктура за уши. Он не знал, что гончий пес уже изменил ему, изменил с того самого момента, когда попал со мной в лес.

8

Август подошел к концу, погода испортилась, и я собрался уезжать, когда пропал Арктур. Утром он ушел в лес и не вернулся ни к вечеру, ни на следующий день, ни еще через день.

Когда друг, который жил с тобой, которого ты видел каждый день и к которому часто даже невнимательно относился, когда этот друг уходит и не возвращается больше, на долю тебе остаются одни воспоминания.

И я вспомнил все дни, проведенные с Арктуром вместе, его неуверенность, смущение, его неловкий, несколько боком, бег, его голос, привычки, милые пустя-

ки, его влюбленность в хозяина, даже запах чистой, здоровой собаки... Я вспоминал все это и жалел, что это был не мой пес, что не я дал ему имя, что не меня он любил и не к моему дому возвращался в темноте, очнувшись от погони за много верст.

Доктор осунулся за эти дни. Он сразу заподозрил давешнего старика, и мы долго разыскивали его, пока наконец не нашли. Но старик клялся и божился, что Арктура в глаза не видал. Мало того, вызвался искать его вместе с нами.

Весть о пропаже Арктура мгновенно облетела весь город. Оказалось, что многие знают его и любят и что все готовы помочь доктору в поисках. Все были заняты самыми разноречивыми толками и слухами. Кто-то видел собаку, похожую на Арктура, другой слышал в лесу его лай... Ребята, те, которых доктор лечил, и те, которых он совсем не знал, ходили по лесу, кричали, обследовали все лесные сторожки, стреляли и по десять раз в день наведывались к доктору узнать, не пришел ли, не нашелся ли чудесный гончий пес.

Я не искал Арктура. Мне не верилось, чтобы он мог заблудиться, — для этого у него было слишком хорошее чутье. И он слишком любил своего хозяина, чтобы пристать к какому-нибудь охотнику. Он, конечно, погиб... Но как? Где? Этого я не знал. Мало ли где можно найти свою смерть!

А через несколько дней понял это и доктор. Он как-то сразу поскуучнел и вечерами долго не спал.

В доме без Арктура стало пусто и тихо, коты уже никого не боялись и свободно разгуливали в саду, камень возле реки никто не обнюхивал больше. Бесполезный, он уныло торчал над землей и чернел от дождей, запахи его никому не были нужны.

В день моего отъезда мы долго говорили с доктором о разных разностях. Об Арктуре мы старались не вспоминать. Один раз только доктор пожалел, что смолоду не стал охотником.

Года через два я опять попал в те места и снова поселился у доктора. Он по-прежнему жил один. Никто не стучал когтями по полу, не фукал носом и не мо-

лотил хвостом по плетеной мебели. Дом молчал, и в комнатах так же пахло пылью, аптекой и старыми обоями.

Но была весна, и пустой дом не производил тягостного впечатления. В саду лопались почки, орали воробы, в роще городского сада с гомоном устраивались грачи, доктор тончайшим фальцетом распевал свои арии. По утрам над городом стоял синий пар, река разлилась, куда хватал глаз, на разливах отдыхали лебеди и утром поднимались со своим вечным «клик-кланк», гнусаво сигналили юркие катера и протяжно гудели упорные буксиры. Было весело!

На другой день по приезде я пошел на тягу. В лесу стоял золотистый туман, кругом капало, звенело, булькало. Земля оголилась, сильно и резко пахла, и сколько было других запахов — осиновой коры, гниющего дерева, сырого листа, — всех их перебил сильный и резкий запах земли.

Был прекрасный вечер с огненным морем заката, и вальдшнепы летели густо. Я убил четырех и еле отыскал их на темном слое листвы. Когда же небо позеленело и погасло и высыпали первые звезды, я тихо пошел домой по знакомой наезженной дороге, обходя широкие разливы, в которых отражалось небо, и голые березы, и звезды.

Обходя один из таких разливов по небольшой гривке, я вдруг заметил впереди что-то светлое и подумал сначала, что это последний клочок снега, но, подойдя ближе, увидел лежавшие вразброс немногие кости собаки. Сердце мое глухо застучало, я стал всматриваться, увидел ошейник с позеленевшей медной пряжкой... Да, это были останки Арктура.

Разобравшись внимательно во всем, я уже в полных сумерках догадался, как было дело. У нестарой еще, но сухой елки был отдельный нижний сук. Он, как и все дерево, высыхал, осыпался и обламывался, пока наконец не превратился в голую острую палку.

На эту палку и наткнулся Арктур, когда мчался по горячему пахучему следу и не помнил уже, не знал ничего, кроме этого зовущего все вперед, все вперед следа.

В полной темноте я пошел дальше, вышел на опушку, а оттуда, чавкая ногами по мокрой земле, и на до-

рогу, но мыслью все возвращался туда, на маленькую гривку с сухой, обломанной елью.

У охотников есть странная любовь к звучным именам. Каких только имен не встретишь среди охотничьих собак! Есть тут и Дианы, и Антеи, Фебы и Нероны, Венеры и Ромулы... Но, наверно, никакая собака не была так достойна громкого имени, имени немеркнувшей голубой звезды!



## НИКИШКИНЫ ТАЙНЫ

### 1

Бежали из лесу избы, выбежали на берег, некуда дальше бежать — остановились испуганные, сбились в кучу, глядят заворуженно на море... Тесно стоит деревня! По узким проулкам деревянные мостки гулко отдают шаг. Идет человек — далеко слышно. Приникают старухи к окошкам, глядят, слушают: семгу ли несет, с пестерем ли в лес идет или так... Ночью, белой, странной, погонится парень за девушкой, и опять слышно всё, и знают все, кто погнался и за кем.

Чуткие избы в деревне, с поветями высокими, строе-ны крепко, у каждой век долгий — всё помнят, всё зна-



ют. Уходит помор на карбасе, бежит по морю, видит деревня его темный широкий парус, знает: на тоню к себе побежал. Придут ли рыбаки на мотоботе с глубьевого лова — знает деревня и про них, с чем пришли и как ловилось. Помрет старик древний, отмолят его по-своему, отчитают по древним книгам, повалят на песчаном угрюмом кладбище, и опять всё видит деревня и чутко принимает вопли жёнок.

Никишку в деревне любят все. Какой-то он не такой, как все, — тихий, ласковый, а ребята в деревне все «зуйки»<sup>1</sup>, настырные, насмешники. Лет ему восемь, на голове вихор белый, лицо бледное, в веснушках, уши большие, вялые, тонкие, а глаза разные: левый пожелтей, правый побирюзовей. Глянет — и вот младенец несмышленный, а другой раз глянет — вроде старик мудрый. Тих, задумчив Никишка, ребят сторонится, не играет, любит разговоры слушать, сам говорит редко и то вопросами: «А это что?», «А это почто?» С отцом только разговорчив да с матерью. Голос у него тонкий, приятный, как свирель, а смеется басом, будто немой: «Гы-гы-гы!» Ребята дразнят его. Как чуть что — бегут, кричат: «Никишка-молчун! Молчун, посмейся!» Сердится тогда Никишка, обидно ему. Прячется в поветь, сидит там один, качается, шепчет что-то. А в повети хорошо: темно, не заходит никто, подумать о разном можно, и пахнет крепко сеном, да дегтем, да водорослями сухими.

Стоит конь, оседланный возле Никишкиного крыльца. Грызет плетень, щепает крупным желтым зубом; надоело ему, глаза закрыл, голову свесил, осел, ногу заднюю поджал, только вздохнет другой раз глубоко, поздри разымутся. Стоит конь, дремлет, а деревня знает уже: собрался Никишка к отцу на тоню ехать, за двадцать верст, по сухой воде, мимо гор и мимо леса.

Выходит Никишка с матерью на крыльцо. Через плечо — киса<sup>2</sup>, на ногах — сапоги, на голове — шапка, шея тонкая шарфом замотана: холодно уже, на дворе октябрь.

— Ступай все берегом, все берегом, — говорит мать. — В стороны не сворачивай. Будут тебе по пути

<sup>1</sup> Так называют у поморов ребят, помогающих взрослым рыбакам.

<sup>2</sup> К и с а — сумка из тюленьей кожи.

горы. Проедешь ты эти горы, а там тебе тропа сама покажет. Тут близко, не заблуждайся гледи-дак... Двадцать верст всего, близко!

Никишка молчит, сопит, мать плохо слушает, на коня лезет. Взбирается в седло, ноги — в стремя, бровки сдвигает:

— Но-о!

Тронулся конь, просыпается на ходу, уши назад насторчил, хочет понять, что за седок на нем нынче. Закачались мимо избы, подковы по мосткам затукали: тук-ток. Кончились избы, высыпали навстречу бани. Много бань — у каждого двора своя, — и все разные: хозяин хорош — и банька хороша, плох хозяин — и банька похуже. Но вот и бани кончились, и огороды с овсом прошли, блеснуло слева море.

Конь по песку захрупал, по сырым водорослям. На море косится, глаз выворачивает — не любит моря, хочет все правее забрать, подальше от воды. Но Никишка знай себе подергивает за левый повод, знай пятками по бокам коня колотит. Покоряется конь, по самому краю воды бежит, шею согнул, пофыркивает.

Недалеко от берега — камни. Их много, обнаженных отливом; они черны и мокры. Там, возле камней, разбиваются в пену волны, вскипают белыми бурунами, глухо, бессильно рокочут. Здесь, возле берега, совсем тихо, светлое дно видно, вспыхивают искры перламутровых раковин и пропадают. Прозрачная волна лижет песок. Сидят на камнях чайки, сонно смотрят в море. Потихоньку слетают, когда Никишка близко подъедет, скользят стремительно над самой водой и вдруг — крылья вверх, хвост веером! — садятся на воду. Сильно светит низкое солнце, блестит под ним море и кажется выпуклым. Длинные мысы плавают впереди, в голубой дымке, будто висят над морем.

Смотрит Никишка вокруг, сияет разноглазьем, в улыбку губы распускает. Глядит на солнце, на выпуклое, огненное море, смеется:

— Солнушко! Гы-гы-гы!..

Перелетают вдоль берега кулички, кричат печально и стеклянно. Качаются на высоких ножках у моря, бегают у самой воды: волна отойдет — они по мокрому за ней, волна обратно — и они назад.

— Кули-кули... — лопочет Никишка, останавливает

лошадь, смотрит, какие они подбористые, с клювами, как шило.

А чего только нет на песке у моря! Вон оставшиеся после отлива красные мокрые медузы, похожие на окровавленную печенку. Есть медузы другие — с четырьмя фиолетовыми колечками посередине. Есть и звезды морские с пупырчатыми, искривленными лучами, а еще — следы чаек, длинные, запутанные, и тут же — помет их сиренево-белый. Лежат грудками водоросли, тронутые тлением, тяжело и влажно пахнут. А то еще след босой ноги тянется у самой воды, сворачивает к лесу, топчется возле странной, вросшей в песок темной коряги. Кто это шел? Куда шел и зачем?

Весело Никишке. А конь все копытами хрупают да фыркает. Ступит иногда с маху на медузу, разбрызгается она по песку, как редкий драгоценный камень. Пусто впереди, пусто назад, пусто слева, пусто справа. Слева море, справа лес. А в лесу что? В лесу вереск да сосны кривые, маленькие, злые, да березы такие же. Еще в лесу ягоды есть сладкие: брусника да черника. И грибы: маслята липкие, рыжики крепкие, сыроежки с пленочкой, с торчащими на шляпках сосновыми иглами. Медведи в лесу ходят и другие звери, а птицы совсем нет, рябки одни тонко перекликаются. Дед Созон говорит: «Отлетела чегой-то птица. Бывало, побежишь с пестерём-то в лес, полон пестерь набьешь-дак. А ныне отлетела чегой-то птица, бог с ней, совсем ушла!»

Выбегают из лесу в море реки, большие и маленькие. Через большие реки мосты положены. Нюхает конь бревна, слушает, как внизу вода вызванивает. Ступнет шаг, шею выгнет, назад оглядывается.

— Но! — скажет Никишка потихоньку.

Конь еще шагнет. А звук на таких мостах глухой, и вода внизу темная, будто крепкий чай. Все реки из болот выбегают, нету чистой воды, вся такая, и море возле впадения рек швыряет на песок желтую пену.

А то черное что-то в песок вросло, коряга там или, может, камень темный, бугристый. Конь издали еще заметит, насторожит уши, голову задерет и вот вбок норовит, боится.

— Ты уж вбок не ныряй, — говорит коню Никишка. — Это ничего. Это так, дерево росло, да сгнило, да в песок устряло. Вишь, коряга? Вишь, это тебе ничего.

Конь слушает внимательно, кожей передергивает, фыркает и несет Никишку дальше, все вперед и вперед. Слушается он Никишку. Его все звери слушаются.

Вот и горы пошли. Высокие, черные, стеной в море обрываются. На обрывах сосенки да березки корявые лепятся, смотрят в море, ждут горя. А внизу осыпь каменная: камень воду лезет пить. Много камня, громоздко очень. Конь все осторожнее идет, принохивается, выбирает, куда ногу поставить. Шел, шел и уперся, стал, ни вперед, ни назад, ни вбок — никуда. Слезает долой Никишка, коня берет за повод, шагает по мокрым камням. Вытягивает конь шею, прижимает уши, скачет за Никишкой, приседает, щелкают подковы, дрожат ноги. А под ноги ему накатываются со звоном волны. «Шшшшу!» — набегают. «Сссс!» — откатываются. «Шшшшу!» — снова набегают...

Нет, не может идти конь! Чудится ему: разверзается слева водяная бездна, приливает море, шумит, а под ногами камни — не уйти, не убежать! Останавливается он в ужасе, храпит, скалит желтые зубы. Сердится Никишка, дергает, тянет изо всех сил за повод. «Но-о!» — кричит. Не идет конь, глядит на Никишку фиолетово-дымчатыми дрожащими глазами. Стыдно становится Никишке, подходит он, гладит коня по щеке, шепчет ему что-то ласковое, тихое. Слушает конь Никишкин шепот, звон моря слушает, дышит тяжело, носит боками. Куда идти? Слева море, справа горы, сзади камень и спереди камень. Набирается конь решимости, снова скачет вперед, и снова щелкают подковы.

Наконец выбрались из осыпей, подвел Никишка коня к большому камню, забрался в седло, и опять захрупали копыта по песку, по водорослям. А земля впереди всё мысы в море выставляет, будто длинные, жадные пальцы. Едет Никишка, впереди — далекий голубой мыс. Доезжает до него — любопытно: а что там, за ним? А за ним новый мыс, еще дальше выпяченный в море, там еще и еще, и так без конца.

Началась незаметная тропа, конь сам на нее свернул. Никишка задумался, смотрит вокруг, хочет тайну такую понять, чтобы всё, что видит, разом открылось ему. Да не понять этой тайны, смотри только с тоской, впитывай глазами, слушай ушами да нюхай. И смотрит Никишка зачарованный, думает, а тропа всё даль-

ше от моря уходит, лесом идет. Становится тихо, золотисто. Под ногами коня языки — желтые, красные, оранжевые. Пахнет мохом, грибами, янтарные рыжики везде, румяные волнушки. Весь лес горит, елочки только зеленые, да вереск стелется приплюснутыми островками. Красен лес, а из-под земли камни обомшелые, темные и бурые, выпирают, да стоят особняком серые, изуродованные, скрученные елки и березы, странно похожие на яблоню.

Попался бы кто-нибудь навстречу! Но никто не падается, один Никишка в безмолвном лесу. Скоро ли жилье? Не у кого спросить, молчат сосны и елки, загадочно смотрят на Никишку камни из-под земли. И вдруг среди этого безмолвия, мертвой тишины, звуков неживых — песня! И слышно — топором кто-то постукивает, слышно — дымком пахнет. Конь уши торчком, заржал звонко, рысью, рысью вперед — жилье чует. Выезжает Никишка из лесу, перед ним избушка — тоня отцовская. Все новое, все крепко и ладно, из трубы дымок курится, на длинном шесте — антенна ежиком, на вешалах сети сушатся, рыбой пахнет, на катках карбас лежит, черным боком маслится. На пороге отец сидит, топором постукивает, кормовое весло ладит да песню поет.

## 2

Увидел Никишку, встал отец — огромный, бородастый, в высоких сапогах, с ножом на поясе, в брезентовой робе. Руки у него красные, лицо бурое, борода светлая, а глаза резкие, пристальные, под густыми бровями.

— Сынок приехал! — говорит радостно отец. — Тото сон мне снился... Ну, как же дома у нас там? Все ли живы?

— Живы! — отвечает Никишка, слезает с коня, качается, ногами топает. — Председатель коня дяде Ивану дал, мамка меня послала, я и поехал... Ехал-ехал, весь заболел, спину больно.

— Ах ты, молодец у меня! — ласкает отец Никишку, волосенки льняные ручищей своей гладит. — А я слышу: топ какой-то, а кто такое, и не толкую. А это вон Никишка! Не боялся ехать-то?

— Не, ничего! Птиц видал, грибов видал, с конем говорил. Конь-то умный. На́ вот тебе, мамка накла-ла,— снимает Никишка кису.— А почто это камни на меня смотрели? Они тоже думают? Небось ночью-то переваливаются кому неловко лежать, за день-то вон как бок отлежишь!

— Камни-то? — задумывается отец.— Камни, они, надо думать, тоже живые. Всё живое!

— А ты понимаешь, об чем березы говорят?

— Дак они по-своему, по-березьи, небось говорят! Надо язык ихний знать. А то где понять!

— А дядя Иван где?

— Дядя Иван на соседнюю тоню поехал, на Керженку. Давеча рыбаки туда бежали на доре<sup>1</sup>, так и его взяли — баня у них там. У нас-то нету ее, вот дядя Иван и поехал.

— А в деревню когда он поедет?

— В деревню завтра поедет, полечится. Ноги-то, вишь, совсем у него разломило. На лошади и поедет по сухой воде.

— А я как же?

— Ты со мной останешься. Останешься? Семгу будем ловить.

— Останусь!

— Ну вот! Пойду лошадь расседлаю...

Пошел отец, коня поймал, расседлал, потом веревку вынес, привязал коня к березе, чтобы в лес не ушел. А Никишка в избу заходит: сильно пахнет рыбой, в печке угли тлеют, на столе хлеб, миски да ложки. Стены плакатами оклеены, на полке газеты ворохом лежат, чисто в избе, подметено, на веревке рукавицы, портянки да штаны сохнут. Выходит Никишка, обходит избу вокруг, в сарай заглядывает. Сарай открыт, не запирается,— не от кого запирать. Только хотел было Никишка в сарай забраться, посидеть, подумать о сегодняшнем, вдруг что-то живое в сарае показалось, темно-рыжее, будто тусклый пламень. Глазами светит, в глазах блеск красноватый вспыхивает, как солнце предзакатное. Собака! Большая, лохматая...

Сел Никишка на корточки, смотрит во все глаза на собаку, оглянулся — отец не видит, заговорил с ней:

---

<sup>1</sup> Д ó р а (мотодóра) — моторный карбас.

— Адя... Уууурр! Гу-гурррр... Гам!

Собака молчит, нюхает, голову набок склонила, одно ухо вверх, другое повисло, хвостом молотит — нравится ей Никишка. Наговорившись, выходит Никишка из сарая, собака за ним бежит, будто век его знает. Смотрит Никишка на отца, какой он большой, красивый, солнцем освещенный, как царь лесной.

— Ну, сынок,— весело говорит отец,— поедем сейчас за семгой! Только постой, весло доделаю.

Отходит Никишка немного, ложится на теплый песок, собака подбегает, рядом ложится тоже, дышит часто. Закрывает глаза Никишка. Качает его, все кажется — на коне едет и чайки бесконечно над морем взлетают, а мимо горы, да леса, да кресты черные. И песню кто-то тонко поет, голос то распухнет, то утончится, баюкает, солнышко светит, а море все: «Шшш-шу»! — накатывает, «Сссс!» — отходит. Тлеющие водоросли крепко пахнут, дурманит голову, а кулики стеклянно кричат: «Пи-пии! Пи-пии!»

Лежит Никишка, ни спит, ни дремлет... Песок теплый, собака теплая, смотрит на Никишку огненными глазами, говорит: «Пойдем, Никишка, в лес!» — «Я в море пойду, семгу стереж!» — отвечает Никишка. А собака свое: «Пойдем в лес, я тебе тайны открою! Об чем березы шепчут, послушаем, что камни думают, узнаем». Любопытно Никишке! Сомневается он уже, то ли в море идти, то ли в лес, но тут отец как раз подошел с веслом новым в руке:

— Вставай, сынок, поедем!

Встал Никишка, идет с отцом на берег. А море радуется: вспыхнет, заиграет, заголубеет, так и манит, так и расстилается. Налег отец грудью на карбас, столкнул в воду, Никишку посадил в корму, сам сапогами по воде бухает. Но вот и сам в карбас залез, на веслах устроился, Никишке кормовое дал, от берега отвалили, развернулись, и пошло качать-покачивать — вверх-вниз, вверх-вниз. Берег качается, собака на берегу качается... А отец шибко гребет, волна по скулам карбаса шлепает, взлетает брызгами вверх. Подплывают осторожно к ловушке, привязывают карбас к жерди, встает отец, чутко вниз глядит, в тайник, — нет ничего!

— Пусто... — шепчет отец и садится спокойный.

Оглядывается Никишка. Тихо кругом, ни звука, ве-

терок легкий ровно дует, солнце светит, слепит глаза море, а берег далеко, темный, в обе стороны уходит. И кажется Никишке — был он здесь, сидел давно, годами, семгу ждал, думал о чем-то. Или снилось ему это?

— Прилив начался, — говорит отец. — Вода пошла, прибывает.

— Светла погода, — тихонько откликается Никишка. — Хорошо! Донушко видать...

— А как же! Она донушко светлое любит. Ей камни там или водоросли не надобны. Любит она по дну идти, в полводы. Полная вода или сухая вода — это ей неподходяще, не любит она этого, а идет, говорю, в полводы.

— А это колотушка?

— Это? Колотушка, сынок. Ее бить. Она здоровая, сильная, так не вытащишь, упаришься, вот и бьем мы ее колотушкой.

— А если она выскочит?

— Но! У нас ведь ловушка на то. Вишь плотно-то? Сеть то есть. Это вот стенки на кольях с оттягами, а внизу... Глянь-ко, глянь!

Сवेशивается Никишка за борт, руками глаза свои разноцветные огородил, смотрит в воду, в глубину, видит блики зеленоватые на дне, тонкие ячейки сети видит.

— Вишь? Вишь, внизу тоже сеть — это доно. Стенки да доно — это вот тайник, а там ворота, эвон где жерди две рядом торчат, ворота там... Она идет, в ворота зайдет — и в тайник, а в тайнике мы ее бьем. От ворот заезжаем, выход загораживаем, доно поднимаем и бьем.

— Знаю, — говорит Никишка, вспомнив что-то.

— Я и то говорю, знаешь, — соглашается отец. — Ты у меня все знаешь!

— А почто меня ребята дразнят?

— Они дурачки, не слушай их. Озорники они, все им баловство, а ты хороший, смирный да умный, вот они и дразнят. Не слушай их, ты всех умней.

— Это потому, что я думаю много.

— А ты много не думай и мало не думай, а так: захочется — думай, не захочется — не думай.

— А я думаю вот: куда это вода в море отливает,



а после обратно приливает? Реки — те в море утекают, а море куда утекает?

— Море? Гм!.. — скребет отец бороду, на горизонт глядит, соображает. — Море, надо думать, в горло уходит, в Ледовитый океан. А из океана еще и в другие океаны переливается.

— А много других океанов?

— Много, сынок. И стран всяких много на земле.

— А ты был там?

— Был! В Италии и во Франции был, в Норвеге, когда моряком ходил.

— А какая Италия?

— Италия-то? Италия, сынок, хорошая. Жарко там, солнца много, фрукты всякие растут, сладкие да вкусные. Все там черные от солнца ходят, раздетые, а зимы вовсе нет.

— Как — нет?

— А так. Снегу нет, морозу нет, ничего. Солнце круглый год.

— Хорошо! — вздыхает Никишка. — Пожить бы там!

— И поживешь, — говорит отец. — Вырастешь, на капитана пойдешь учиться, дадут тебе пароход большой в Архангельске, и побежишь ты мимо Норвеги, вокруг земли, прямо в Средиземное море.

— А ты капитаном был?

— Нет, я был матросом. Всем я был: лесорубом, охотником, рыбаком, зверобоем...

— Ой, глянь-ко, что это?

— Где?

— Эвон кажется...

— А! То тюлень. Тюлень, сынок, подплыл на нас поглядеть.

— Знаю. А где он живет?

— В море живет. Днем рыбу промышляет, а ночью к берегу плывет, на камнях спит, в местах глухих на съемных коргах.

— А почто его бьют? Его ведь не едят.

— Шкура у него хороша и жиру много. Его легко бить, глупый он; подкрадываются и бьют из винтовки. А ходим за ним всяко: другой раз на карбасах, другой раз на ледоколе. Теперь-то всё больше на ледоколе.

— А если темна погода, страшно на карбасе?

— Ой, страшно! Вот вырастешь, возьму я тебя на зверобойку, порато узнаешь тогда наше северное морюшко. Эвон там, где блестки,— показывает отец рукой,— где солнушко стоит, там островок есть махонький, Жижгин называется. Тюлени там стадаются. На Жижгине этом поморы всегда промышляют. Стоит там избушка зверобойная на корге, прибегают туда поморы на карбасах, живут, хлеб жуют, поветрия ждут, погоды, значит. В хорошую погоду в море бегут, тюлешков стреляют, ночью на льдине спят. Бывает, падет темна погода, так уж понесет, так понесет — заревишь на голос, с жизнью простишься. Кто посчастливей, того и отпустит скоро, ветер напеременку пойдет, утихнет, а кого и в горло вынесет, мимо Канина Носа пронесет да в океан... А там, только если с самолета заметят, спасут, а так...

— Семга! — шепчет вдруг Никишка.

— Но! — встал отец на носу на коленки, наклонился над тайником. — А и верно! Ну, господи благослови, я буду доно подымать, а ты карбас сдерживай...

Быстро отвязывает отец карбас, гребет по борту в объезд ловушки, к воротам. Заходят со стороны ворот, нагибается отец, руки в воду опускает. Никишка за жердь держится. А в глубине что-то беззвучно мечется — огромное, сильное, живое, — вздрагивают жерди, как струны дрожат оттяги. Шуршит капроновая сеть, подтягивает ее отец к карбасу; Никишка шею вытянул, смотрит вниз. Вот все меньше семге места остается, вот она уже два раза поверху хлестнула, держит отец одной рукой подобранное дно, другой колотушку шарит. Нашел, руку вымахнул, ждет, когда ударить можно, а семга бьется все яростней, все сильнее, гулко по дну карбаса стучает, не дается, водой рыбаков окатывает. Вот уже вся она на виду, как в чаше пенной. Могла бы кричать — закричала бы от ужаса. Бьет ее отец с размаху по голове, и сразу все обрывается, обмякает семга, заваливается набок. Хватает отец ее за жабры, с усилием втягивает в карбас, шлепает вниз, под ноги Никишке. Смотрит Никишка на нее остановившимися глазами, а она еще жива, еще жабры вздрагивают, чешуя еще сжимается — огромная серебристая рыба с темной спиной, с загнутой вверх нижней челюстью, с дымчатым крупным глазом.

Опускает отец дно, выталкивает карбас из ловушки, рукавом лицо вытирает и руки, рыбой пахнущие, вытирает о штаны, весело смотрит на семгу, на Никишку:

— Вот как мы ее!

Никишка бледен, поражен, опомниться не может. И опять привязан карбас к жерди, качается на волне вверх-вниз, молчит отец, сложив на коленях могучие красные кисти рук, отдыхает. А Никишка, привыкнув немного к семге, вспоминает отцовские слова о тюленях.

— Не, я лучше капитаном буду! Не хочу тюленей бить: они смиренные...

— Можно и капитаном,— соглашается отец и смотрит на небо: — Глянь, тучи натягиват, солнушко скрывает. Скоро домой поедem... Можно капитаном, а можно инженером тоже...

— А почто инженером?

— Как — почто? Строить чего-нибудь будешь, это тоже дело! Да вот хоть бы у нас: выстроишь дорогу по берегу асфальтовую, причаловстроишь, огни гореть будут, машины гудеть...

Никишка задумывается, глядит на далекий берег: какой он темный, безлюдный...

— Ладно,— решает,— буду инженером.

— Ну вот! Посидим еще — и домой. Там у меня рыбка есть, давеча утром рюжу осматривал по сухой воде, так рыбки немного попало. Ухи мы с тобой наварим да чай скипятим, оно и хорошо спать-то будет. А теперь давай-ко помолчим-дак... Семгу надо сторожить.

Молчит все: молчит морё, карбас беззвучно качает, молчит берег, не доносится оттуда ни звука. Низкое уже солнце скрылось в облаках, потемнело все кругом, запечалилось. И никого нигде нет! Пусто везде, безлюдье, летают редкие чайки, на берегу в лесу рябки притаились, да качаются в карбасе два рыбака и с ними заснувшая семга.

Гудит печка, потрескивает. Тепло в избушке, за окошками сумерки. Зажег отец лампу, между ног вед-

ро поставил с водой, шкерает на уху пятнистую тресочку, темную, горбатую рявшу, тонкую навагу. А Никишка дремлет. Наговорился за день, нагляделся, наслушался, накачался, устал—дремлется ему, думается бог знает о чем!

Круто меняется погода. Дует верховой обедник, шумит море, все зеленеет и зеленеет на западе, просинь открывается, воздух стекленеет: настает вечер необыкновенной чистоты, со звездами и с мутным небесным светом.

Лежит рыжий пес у печки, спит, подрагивает во сне. Никишка встрепенется, слушает вполуха — отец чего-то говорит мирное, давно знакомое, родное: о рыбе говорит, о море, о ботах, о деревне, о ветрах — полуношнике, побережнике, шалоннике, обеднике... Большой отец, склонился низко над ведром, волосы, как у Никишки, белесые на глаза свесились, борода распушилась, сам неподвижен, руки только двигаются, нож сверкает, рыба в ведро с плеском падает, тень отцовская на стене вздрагивает. Говорит, говорит отец низким голосом. Никишка глаза закрое, видит землю родную с морем, лесами, озерами, солнце видит, птиц молчаливых, зверей странных. Кажется ему — вот-вот тайну какую-то узнает, никому не ведомую, слово заветное произнесет, и нарушится молчание, заговорят все с Никишкой, все ему разом понятным станет. Но нет слова, не раскрыта тайна, слышит Никишка ровный отцовский голос, и еще многое видит он и слышит.

Видит он, что псу рыжему снится. Лес ему снится, звери страшные, неизвестные со всех сторон кидаются. Бежит пес, лает от страха, одно ему спасение — Никишка. Слышит — камни шептаться начинают, море шумит, деревья в лесу шевелятся, крикнет кто-то... Видит — вот отец в шторм на льдине качается, ревит; еще видит — семга огромная, сердитая бережает<sup>1</sup>, по дну плывет, по чистому донушку, а за ней другие — тайник отцов ищут.

Гудят в печке дрова, потрескивают... Отец из избы выходит воду вылить из ведра; слышно, за стенкой ходит, дрова собирает, потом в избу входит, грохает

---

<sup>1</sup> Приближается к берегу (поморск.).

дрова у печки. Вскакивает пес рыжий, вздрагивает Никишка, глаза открывает.

— Спишь, сынок? — наклоняется к нему отец. — На воле-то не видал, что делается? Ясень какой! Глянь-ко, глянь поди...

Выходит Никишка — темно, холодно, ветер сырой дует. Солнце давно село, леса не видно, а вверх, меж звезд, жемчужно светится продолговатое пятнышко. Будто облачко плывет на страшной высоте, озарено последним светом солнца. Но вот облачко медленно, неуверенно вытягивается в длину, пухнет в середине, выгибается мостом-радугой между западом и востоком. Смотрит Никишка, закинув голову. Дверь хлопает, подбегает к Никишке пес, за псом отец выходит, тоже голову поднимает.

Неясные тени начинают ходить по облаку, цвета меняются, всё синеют, всё густеют — от молочного к синему. Кажется Никишке, напрягается облако, силится рубиновым огнем загореться, заполыхать вместо ушедшего солнца. Все сильнее мерцают краски, все больше света сверху льется, но напрасны усилия: всё гаснет, и опять большие смутные тени передвигаются печально по световому мосту.

Смотрит Никишка, смотрит отец и молчит, пес смотрит и тоже молчит, молчит и лошадь, заснула возле березы, — всё молчит, одно море светлеет от небесного огня и шумит, шумит...

Вот совсем гаснет свет. Идет Никишка в теплую избу, забирается на кровать с ногами, пес у печки ложится, ставит отец уху на огонь и чайник ставит.

Скоро Никишка спать ляжет, и приснятся ему необыкновенные сны. Обступит его деревня, избы с глазами-окошками, лес подойдет, камни и горы, конь явится, пес рыжий, чайки прилетят, сбегутся кулики на тонких ножках, семга из моря выйдет — все к Никишке сойдутся, смотреть на него станут и, бессловесные, будут ждать заветного слова Никишкиного, чтобы разом открыть ему все тайны немой своей души.



## ТИХОЕ УТРО

Еще только-только прокричали сонные петухи, еще темно было в избе, мать не доила коровы и пастух не выгонял стадо в луга, когда проснулся Яшка.

Он сел на постели, долго таращил глаза на голубоватые потные окошки, на смутно белеющую печь. Сладок предрассветный сон, и голова валится на подушку, и глаза слипаются, но Яшка переборол себя. Спотыкаясь, цепляясь за лавки и стулья, стал бродить по избе, разыскивая старые штаны и рубаху.

Поев молока с хлебом, Яшка взял в сенях удочки и вышел на крыльцо. Деревня, будто большим пухо-

вым одеялом, была укрыта туманом. Ближние дома были еще видны, дальние едва проглядывали темными пятнами, а еще дальше, к реке, уже ничего не было видно, и, казалось, никогда не было ни ветряка на горке, ни пожарной каланчи, ни школы, ни леса на горизонте... Все исчезло, притаилось сейчас, и центром маленького замкнутого мира оказалась Яшкина изба.

Кто-то проснулся раньше Яшки, стучал возле кузницы молотком; чистые металлические звуки, прорываясь сквозь пелену тумана, долетали до большого невидимого амбара и возвращались оттуда уже ослабленными. Казалось, стучат двое: один погромче, другой потише.

Яшка соскочил с крыльца, замахнулся удочками на подвернувшегося под ноги петуха и весело затрусил к риге. У риги он вытащил из-под доски ржавый косарь и стал рыть землю. Почти сразу же начали попадаться красные и лиловые холодные червяки. Толстые и тонкие, они одинаково проворно уходили в рыхлую землю, но Яшка все-таки успевал выхватывать их и скоро набросал почти полную банку. Подсыпав червям свежей земли, он побежал вниз по тропинке, перевалился через плетень и задами пробрался к сараю, где на сеновале спал его новый приятель — Володя.

Яшка заложил в рот испачканные землей пальцы и свистнул. Потом сплюнул и прислушался. Было тихо.

— Володька! — позвал он. — Вставай!

Володя зашевелился на сене, долго возился и шуршал там, наконец неловко слез, наступая на незавязанные шнурки. Лицо его, измятое после сна, было бессмысленно и неподвижно, как у слепого, в волосы набилась сенная труха, она же, видимо, попала ему и за рубашку, потому что, стоя уже внизу, рядом с Яшкой, он все дергал тонкой шеей, поводил плечами и почесывал спину.

— А не рано? — сипло спросил он, зевнул и, покачавшись, схватился рукой за лестницу.

Яшка разозлился: он встал на целый час раньше, червяков накопал, удочки притащил... а если по правде говорить, то и встал-то он сегодня из-за этого... заморыша — хотел места рыбные ему показать, — и вот вместо благодарности и восхищения — «рано»!

— Для кого рано, а для кого не рано! — зло отве-

тил он и с пренебрежением осмотрел Володю с головы до ног.

Володя выглянул на улицу, лицо его оживилось, глаза заблестели, он начал торопливо зашнуровывать ботинки. Но для Яшки вся прелесть утра была уже отравлена.

— Ты что, в ботинках пойдешь? — презрительно спросил он и посмотрел на оттопыренный палец своей босой ноги. — А галоши наденешь?

Володя промолчал, покраснел и принялся за другой ботинок.

— Ну да, — меланхолично продолжал Яшка, ставя удочки к стене, — у вас там, в Москве, небось босиком не ходют...

— Ну и что? — Володя снизу посмотрел в широкое насмешливо-злое лицо Яшки.

— Да ничего... Забежи домой — пальто возьми...

— Ну и забегу! — сквозь зубы ответил Володя и еще больше покраснел.

Яшка заскучал. Зря он связался со всем этим делом... На что уж Колька да Женька Воронковы рыбки, а и те признают, что лучше его нет рыболова во всем колхозе. Только отведи на место да покажи — яблоками засыпят! А этот... пришел вчера, вежливый: «Пожалуйста, пожалуйста»... Дать ему по шее, что ли? Надо было связываться с этим москвичом, который, наверно, и рыбы в глаза не видал! Идет на рыбалку в ботинках!..

— А ты галстук надень, — съязвил Яшка и хрипло засмеялся. — У нас рыба обижается, когда к ней без галстука суешься.

Володя наконец справился с ботинками и, подрагивая от обиды ноздрями и глядя прямо перед собой невидящим взглядом, вышел из сарая. Он готов был отказать от рыбалки и тут же разреветься, но он так ждал этого утра! За ним нехотя вышел Яшка, и ребята молча, не глядя друг на друга, пошли по улице. Они шли по деревне, и туман отступал перед ними, открывая всё новые и новые дома, и сараи, и школу, и длинные ряды молочно-белых построек фермы... Будто скупой хозяин, он показывал все это только на минуту и потом снова плотно смыкался сзади.

Володя жестоко страдал. Он сердился на себя за



грубые ответы Яшке, сердился на Яшку и казался сам себе в эту минуту неловким и жалким. Ему было стыдно своей неловкости, и, чтобы хоть как-нибудь заглушить это неприятное чувство, он думал, ожесточаясь: «Ладно, пусть... Пускай издевается. Они меня еще узнают, я не позволю им смеяться! Подумаешь, велика важность босиком идти! Воображалы какие!» Но в то же время он с откровенной завистью и даже с восхищением поглядывал на босые Яшкины ноги, и на холщовую сумку для рыбы, и на заплатанные, надетые специально на рыбную ловлю штаны и серую рубаху. Он завидовал и Яшкиному загару, и той особенной походке, при которой шевелятся плечи и лопатки и даже уши и которая у многих деревенских ребят считается особенным шиком. Проходили мимо колодца со старым, поросшим зеленью срубом.

— Стой! — сказал хмуро Яшка. — Попьем!

Он подошел к колодцу, загремел цепью и, вытащив тяжелую бадью с водой, жадно приник к ней. Пить ему не хотелось, но он считал, что лучше этой воды нигде нет, и поэтому каждый раз, проходя мимо колодца, пил ее с огромным наслаждением. Вода, переливаясь через край бадьи, плескала ему на босые ноги, он поджимал их, но все пил и пил, изредка отрываясь и шумно дыша.

— На, пей! — сказал он наконец Володе, вытирая рукавом губы.

Володе тоже не хотелось пить, но, чтобы еще больше не рассердить Яшку, он послушно припал к бадье и стал тянуть воду мелкими глоточками, пока от холода у него не заломило в затылке.

— Ну, как водичка? — самодовольно осведомился Яшка, когда Володя отошел от колодца.

— Законная! — отозвался Володя и поежился.

— Небось в Москве такой нету? — ядовито прищурился Яшка.

Володя ничего не ответил, только втянул сквозь сжатые зубы воздух и примиряюще улыбнулся.

— Ты ловил ли рыбу-то? — спросил Яшка.

— Нет... Только на Москве-реке видел, как ловят, — упавшим голосом сознался Володя и робко взглянул на Яшку.

Это признание несколько смягчило Яшку, и он, по-

шупав банку с червями, сказал как бы между прочим:

— Вчера наш завклубом в Плешанском бочаге сома видал...

У Володи заблестели глаза:

— Большой?

— А ты думал! Метра два... А может, и все три — в темноте не разобрать было. Наш завклубом аж перепугался, думал — крокодил. Не веришь?

— Врешь! — восторженно выдохнул Володя и подернул плечами; по его глазам было видно, что верит он всему безусловно.

Яшка изумился:

— Я вру? Хочешь, айда вечером сегодня ловить! Ну?

— А можно? — с надеждой спросил Володя, и уши его порозовели.

— А чего...—Яшка сплюнул, вытер нос рукавом.— Снасть у меня есть. Лягвы, вьюнов наловим... Выползков захватим — там голавли еще водятся — и на две зари! Ночью костер запалим... Пойдешь?

Володе стало необыкновенно весело, и он только теперь почувствовал, как хорошо выйти утром из дому. Как славно и легко дышится, как хочется побежать по этой мягкой дороге, помчаться во весь дух, подпрыгивая и взвизгивая от восторга!

Что это так странно звякнуло там, сзади? Кто это вдруг, будто ударяя раз за разом по натянутой тугой струне, ясно и мелодически прокричал в лугах? Где это было с ним? А может, и не было? Но почему же тогда так знакомо это ощущение восторга и счастья?

Что это затрещало так громко в поле? Мотоцикл? Володя вопросительно посмотрел на Яшку.

— Трактор! — ответил важно Яшка.

— Трактор? Но почему же он трещит?

— Это он заводится. Скоро заведется... Слушай. Во-во... Слышал? Загудел! Ну, теперь пойдет... Это Федя Костылев. Всю ночь пахал с фарами, чуток поспал и опять пошел...

Володя посмотрел в ту сторону, откуда слышался гул трактора, и тотчас спросил:

— Туманы у вас всегда такие?

— Не... Когда чисто, а когда — попоздней, к сентябрю поближе, — глядишь, и инеем вдарит. А вообще в туман рыба берет — успевай таскать!

— А какая у вас рыба?

— Рыба-то? Рыба всякая... И караси на плесах есть, щука, ну, потом эти... окунь, плотва, лещ... Еще линь. Знаешь линя? Как поросенок. То-олстый! Я сам первый раз поймал — рот разинул.

— А много можно поймать?

— Гм!.. Всяко бывает. Другой раз кило пять, а другой раз так только... кошке.

— Что это свистит? — Володя остановился, поднял голову.

— Это? Это ути летят... Чирочки.

— Ага! Знаю... А это что?

— Дрозды звенят. На рябину прилетели к тете Насте в огород. Ты дроздов-то ловил когда?

— Никогда не ловил.

— У Мишки Каюнёнка сетка есть... Вот погоди, пойдем ловить. Они, дрозды-то, жаднящие. По полям стаями летают, червяков из-под трактора берут. Ты сетку растяни, рябины набросай, затаись и жди. Как налетят, так сразу штук пять под сетку полезут... Потешные они; не все, правда, но есть толковые... У меня один всю зиму жил, так по-всякому умел: и как паровоз, и как пила...

Деревня скоро осталась позади. Бесконечно потянулся низкорослый овес, впереди еле проглядывала темная полоса леса.

— Долго еще идти? — спрашивал Володя.

— Скоро... Вот рядом. Пошли ходчее, — каждый раз отвечал Яшка.

Вышли на бугор, свернули вправо, ложиной спустились вниз, прошли тропкой через льняное поле, и тут совсем неожиданно перед ними открылась река.

Она была небольшая, густо поросла ракитником, ветлой по берегам, ясно звенела на перекатах и часто разливалась глубокими, мрачными омутами.

Солнце наконец взошло; тонко заржала в лугах лошадь, и как-то необыкновенно быстро посветлело, порозовело все вокруг; еще отчетливей стала видна седая роса на елках и кустах, а туман пришел в движение, по-

редел и стал неохотно открывать стога сена, темные на дымчатом фоне близкого теперь леса. Рыба гуляла.

В омутах раздавались редкие тяжкие всплески, вода волновалась, прибрежная куга тихонько покачивалась.

Володя готов был хоть сейчас начать ловить, но Яшка шел все дальше берегом реки. Они почти по поясу вымокли в росе, когда наконец Яшка шепотом сказал: «Здесь!» — и стал спускаться к воде. Нечаянно он оступился, влажные комья земли посыпались из-под его ног, и тотчас же, невидимые, закрикали утки, заплескали крыльями, взлетели и потянулись над рекой, пропадая в тумане. Яшка съезжился и зашипел, как гусь. Володя облизнул пересохшие губы и спрыгнул вслед за Яшкой вниз. Оглядевшись, он поразился мрачности, которая царила в этом омуте. Пахло сыростью, глиной и тиной, вода была черная, ветлы в буйном росте почти закрыли все небо, и, несмотря на то что верхушки их уже порозовели от солнца, а сквозь туман было видно синее небо, здесь, у воды, было сыро, угрюмо и холодно.

— Тут знаешь глубина какая? — Яшка округлил глаза. — Тут и дна нету...

Володя немного отодвинулся от воды и вздрогнул, когда у противоположного берега гулко ударила рыба.

— В этом бочаге у нас никто не купается...

— Почему? — слабым голосом спросил Володя.

— Засасывает... Как ноги опустил вниз, так всё... Вода — как лед и вниз утягивает. Мишка Каюнёнок говорил — там осьминоги на дне лежат.

— Осьминоги только... в море, — неуверенно сказал Володя и еще отодвинулся.

— «В море»!.. Сам знаю! А Мишка видал! Пошел на рыбалку, идет мимо, глядит — из воды щуп и вот по берегу шарит... Ну? Мишка аж до самой деревни бѣг! Хотя, наверно, он врет, я его знаю, — несколько неожиданно заключил Яшка и стал разматывать удочки.

Володя приободрился, а Яшка, уже забыв про осьминогов, нетерпеливо поглядывал на воду, и каждый раз, когда шумно всплескивала рыба, лицо его принимало напряженно-страдальческое выражение.

Размотав удочки, он передал одну из них Володе, отсыпал ему в спичечную коробку червей и глазами показал место, где ловить.

Закинув насадку, Яшка, не выпуская из рук удилища, нетерпеливо уставился на поплавок. Почти сейчас же закинул свою насадку и Володя, но зацепил при этом удилищем за ветлу. Яшка страшно взглянул на Володю, выругался шепотом, а когда перевел взгляд опять на поплавок, то вместо него увидел только легкие расходящиеся круги. Яшка тотчас с силой подсек, плавно повел рукой вправо, с наслаждением почувствовал, как в глубине упруго заходила рыба, но напряжение лески вдруг ослабло, и из воды, чмокнув, выскочил пустой крючок. Яшка задрожал от ярости.

— Ушла, а? Ушла... — пришепetyвал он, надевая мокрыми руками нового червя на крючок.

Снова забросил насадку и снова, не выпуская из рук удилища, неотрывно смотрел на поплавок, ожидая поклевки. Но поклевки не было, и даже всплесков не стало слышно. Рука у Яшки скоро устала, и он осторожно воткнул удилище в мягкий берег. Володя посмотрел на Яшку и тоже воткнул свое удилище.

Солнце, поднимаясь все выше, заглянуло наконец и в этот мрачный омут. Вода сразу ослепительно засверкала, и загорелись капли росы на листьях, на траве и на цветах. Володя, жмурясь, посмотрел на свой поплавок, потом оглянулся и неуверенно спросил:

— А что, может рыба в другой бочаг уйти?

— Ясное дело! — злобно ответил Яшка. — Та сорвалась и всех распугала. А здоровая, верно, была... Я как дернул, так у меня руку сразу вниз потащило! Может, на кило потянула бы.

Яшке немного стыдно было, что он упустил рыбу, но, как часто бывает, вину свою он склонен был приписать Володе. «Тоже мне рыбак! — думал он. — Сидит раскорякой... Один ловишь или с настоящим рыбаком — только успевай таскать...» Он хотел чем-нибудь уколоть Володю, но вдруг схватился за удочку: поплавок чуть шевельнулся. Напрягаясь, будто дерево с корнем вырывая, он медленно вытащил удочку из земли и, держа ее на весу, чуть приподнял вверх. Поплавок снова качнулся, лег набок, чуть подержался в таком положении и опять выпрямился. Яшка перевел дыхание, скосил глаза и увидел, как Володя, побледнев, медленно приподнимается. Яшке стало жарко, пот мелкими капельками выступил у него на носу и верхней

губе. Поплавок опять вздрогнул, пошел в сторону, погрузился наполовину и наконец исчез, оставив после себя едва заметный завиток воды. Яшка, как и в прошлый раз, мягко подсек и сразу подался вперед, стараясь выправить удилице. Леска с дрожащим на ней поплавком вычертила кривую, Яшка привстал, перехватил удочку другой рукой и, чувствуя сильные и частые рывки, опять плавно повел руками вправо. Володя подскочил к Яшке и, блестя отчаянными круглыми глазами, закричал тонким голосом:

— Давай, давай, дава-ай!..

— Уйди! — просипел Яшка, пятясь, часто переступая ногами.

На мгновение рыба вырвалась из воды, показала свой сверкающий широкий бок, туго ударила хвостом, подняла фонтан розовых брызг и опять ринулась в холодную глубину. Но Яшка, уперев комель удилица в живот, все пятился и кричал:

— Врешь, не уйде-ошь!..

Наконец он подвел упирающуюся рыбу к берегу, рывком выбросил ее на траву и сейчас же упал на нее животом. У Володи пересохло горло, сердце неистово колотилось...

— Что у тебя? — присев на корточки, спрашивал он. — Покажи, что у тебя?

— Ле-ещ! — с упоением выговорил Яшка.

Он осторожно вытащил из-под живота большого холодного леща, повернул к Володе свое счастливое широкое лицо, сипло засмеялся было, но улыбка его внезапно пропала, глаза испуганно уставились на что-то за спиной Володи, он съежился, ахнул:

— Удочка-то... Глянь-ка!

Володя обернулся и увидел, что его удочка, отвалив ком земли, медленно сползает в воду и что-то сильно дергает леску. Он вскочил, споткнулся и, на коленях подтянувшись к удочке, успел схватить ее. Удилище сильно согнулось, Володя повернул к Яшке круглое бледное лицо...

— Держи! — крикнул Яшка.

Но в этот момент земля под ногами у Володи зашевелилась, подалась, он потерял равновесие, выпустил удочку, нелепо, будто ловя мяч, всплеснул руками, звонко крикнул: «Ааа!..» — и упал в воду.

— Дурак! — сипло закричал Яшка, злобно и страдальчески искривив лицо. — Недотепа чертова!.. Рыбу распуга-ал...

Он вскочил, схватил ком земли с травой, готовясь швырнуть в лицо Володе, как только он вынырнет. Но, взглянув на воду, он замер, и у него появилось то томительное чувство, которое испытываешь во сне, когда вялое тело не подчиняется сознанию: Володя в трех метрах от берега бил, шлепал по воде руками, запрокидывал к небу белое лицо с выпученными глазами, захлебывался и, окунаясь в воду, все силился что-то крикнуть, но в горле у него клокотало и получалось: «Уаа... Уа...»

«Тонет! — с ужасом подумал Яшка. — Утягивает!» Бросил комок земли, которым хотел ударить Володю, и, вытирая липкую руку о штаны, не отрывая глаз от него и чувствуя слабость в ногах, попятился вверх, прочь от воды. На ум ему сразу пришел рассказ Мишки о громадных осьминогах на дне бочага, в груди и животе стало холодно от ужаса: он понял, что Володю схватил осьминог... Земля сыпалась у него из-под ног, он упирался трясущимися руками и, совсем как во сне, неповоротливо и тяжело лез вверх.

Наконец, подгоняемый страшными звуками, которые издавал Володя, Яшка выскочил на луг и кинулся к деревне, но, не пробежав и десяти шагов, остановился, будто споткнувшись, чувствуя, что убежать никак нельзя. Поблизости не было никого, и некому было крикнуть о помощи... Яшка судорожно шарил в карманах и в сумке в поисках хоть какой-нибудь бечевки и, не найдя ничего, бледный, стал подкрадываться к бочагу. Подойдя к обрыву, он заглянул вниз, ожидая увидеть страшное и в то же время надеясь, что все как-то обошлось, и опять увидел Володю. Володя теперь уже не бился, он почти весь скрылся под водой, только макушка с торчащими волосами была еще видна... Она скрывалась и опять показывалась, скрывалась и показывалась... Яшка, не отрывая взгляда от этой макушки, начал расстегивать штаны, потом вскрикнул и скатился вниз. Высвободившись из штанов, он, как был, в рубашке и с сумкой через плечо, прыгнул в воду, в два взмаха подплыл к Володе, схватил его за руку.

Володя сразу же вцепился в Яшку, быстро-быстро стал перебирать руками, цепляясь за рубашку и сумку, наваливаться на него, по-прежнему выдавливая из себя нечеловеческие, страшные звуки: «Уаа... Уааа...» Вода хлынула Яшке в рот. Чувствуя у себя на шее мертвую хватку, он попытался выставить из воды свое лицо, но Володя, дрожа мелкой дрожью, все карабкался на него, наваливался всей тяжестью, старался влезть на плечи. Яшка захлебнулся, закашлялся, задыхаясь, глотая воду, и тогда дикий, небывалый ужас охватил его, в глазах с ослепительной силой вспыхнули красные и желтые круги. Он понял, что Володя утопит его, что пришла его смерть, дернулся из последних сил, забарахтался, закричал так же нечеловечески страшно, как кричал Володя минуту назад, ударил Володю ногой в живот, вынырнул и сквозь бегущую с волос воду увидел яркий сплюснутый шар солнца. Чувствуя еще на себе тяжесть Володи, он оторвал, сбросил его с себя, замолотил по воде руками и ногами и, поднимая буруны пены, в ужасе бросился к берегу.

И только ухватившись рукой за прибрежную осоку, он опомнился и посмотрел назад. Взбаламученная вода в омуте успокаивалась, и никого уже не было на ее поверхности. Из глубины весело выскочило несколько пузырьков воздуха, и у Яшки застучали зубы.

Он оглянулся: ярко светило солнце, и листья кустов и ветлы блестели, радужно светила паутина между цветами, и трясогузка сидела вверху, на бревне, покачивала хвостом и блестящим глазом смотрела на Яшку, и всё было так же, как и всегда, все дышало покоем и тишиной, и стояло над землей тихое утро, а между тем вот только сейчас, совсем недавно, случилось небывалое — только что утонул человек, и это он, Яшка, ударил, утопил его...

Яшка моргнул, отпустил осоку, повел плечами под мокрой рубашкой, глубоко, с перерывами вдохнул воздух и нырнул. Открыв под водой глаза, он не мог сначала ничего разобрать: кругом дрожали неясные желтоватые и зеленоватые блики и какие-то травы, освещенные солнцем. Но свет солнца не проникал туда, в глубину... Яшка опустился еще ниже, проплыл немного, задевая руками и лицом за травы, и тут увидел Володю. Володя держался на боку, одна нога его за-



путалась в траве, а сам он медленно поворачивался, покачиваясь, подставляя солнечному свету круглое бледное лицо и шевеля левой рукой, словно пробуя на ощупь воду. Яшке показалось, что Володя притворяется и нарочно покачивает рукой, что он следит за ним, чтобы схватить, как только он дотронется до него.

Чувствуя, что сейчас задохнется, Яшка рванулся к Володе, схватил его за руку, зажмурился, торопливо дернул тело Володи вверх и удивился, как легко и послушно Володя последовал за ним. Вынырнув, он жадно задышал, и теперь ему ничего не нужно и неважно было, кроме как дышать и чувствовать, как грудь раз за разом наполняется удивительно чистым и сладким воздухом.

Не выпуская Володиной рубашки, он стал подталкивать его к берегу. Плыть было тяжело. Почувствовав дно под ногами, Яшка положил Володю грудью на берег, лицом в траву, тяжело вылез сам и вытащил Володю. Он вздрагивал, касаясь холодного тела, глядя на мертвое, неподвижное лицо, торопился и чувствовал себя таким усталым, таким несчастным...

Перевернув Володю на спину, он стал разводить его руки, давить на живот, дуть в нос. Он запыхался и ослабел, а Володя был все такой же белый и холодный. «Помер?» — с испугом подумал Яшка, и ему стало очень страшно. Убежать бы куда-нибудь, спрятаться, чтобы только не видеть этого равнодушного, холодного лица!

Яшка всхлипнул от ужаса, вскочил, схватил Володю за ноги, вытянул, насколько хватило сил, вверх и, побагровев от натуги, начал трясти. Голова Володи билась по земле, волосы свалились от грязи. И в тот самый момент, когда Яшка, окончательно обессилив и упав духом, хотел бросить все и бежать куда глаза глядят, — в этот самый момент изо рта Володи хлынула вода, он застонал, и судорога прошла по его телу. Яшка выпустил Володины ноги, закрыл глаза и сел на землю.

Володя оперся слабыми руками, привстал, точно собираясь немедленно куда-то бежать, но снова повалился, снова зашелся судорожным кашлем, брызгаясь водой и корчась на сырой траве.

Яшка отполз в сторону и расслабленно смотрел на

Володю. Никого сейчас не любил он больше Володи, ничто на свете не было ему милее этого бледного, испуганного и страдающего лица. Робкая, влюбленная улыбка светилась в глазах Яшки, с нежностью смотрел он на Володю и бессмысленно спрашивал:

— Ну как? А? Ну как?..

Володя немного оправился, вытер рукой лицо, взглянул на воду и незнакомым, хриплым голосом с заметным усилием, заикаясь, выговорил:

— Как я... то-нул...

Тогда Яшка вдруг сморщился, зажмурился, из глаз у него брызнули слезы, и он заревел, заревел горько, безутешно, сотрясаясь всем телом, задыхаясь и стыдясь своих слез. Плакал он от радости, от пережитого страха, от того, что все хорошо кончилось, что Мишка Каюёнок врал и никаких осьминогов в этом бочаге нет...

Глаза Володи потемнели, рот приоткрылся, с испугом и недоумением смотрел он на Яшку.

— Ты... что? — выдавил он из себя.

— Да-а... — выговорил Яшка, что есть силы стараясь не плакать и вытирая глаза штанами, — ты уто-о... утопать... а мне тебя спа-а... спаса-а-ать...

И он заревел еще отчаянней и громче.

Володя заморгал, покривился, посмотрел опять на воду, сердце его дрогнуло, он все вспомнил...

— Ка... как я тону-ул!.. — будто удивляясь, сказал он и тоже заплакал, дергая худыми плечами, беспомощно опустив голову и отворачиваясь от своего спасителя.

Вода в омуте давно успокоилась, рыба с Володиной удочки сорвалась, удочка прибилась к берегу... Светило солнце, пылали кусты, обрызганные росой, и только вода в омуте оставалась все такой же черной.

Воздух нагрелся, и горизонт дрожал в его теплых струях. Издали, с полей, с другой стороны реки, вместе с порывами теплого ветра летели запахи сена и сладкого клевера. Запахи эти, смешиваясь с более дальними, но острыми запахами леса, и этот легкий теплый ветер были похожи на дыхание проснувшейся земли, радующейся новому светлему дню.



## НОЧЬ

Мне нужно было попасть на утиное озеро к рассвету, и я вышел из дому ночью, чтобы до утра быть на месте.

Я шел по мягкой пыльной дороге, спускался в овраги, поднимался на пригорки, проходил реденькие сосновые борки с застоявшимся запахом смолы и земляники, снова выходил в поле... Никто не догонял меня, никто не попадался навстречу — я был один в ночи.

Иногда вдоль дороги тянулась рожь. Она созрела уже, стояла недвижно, нежно светлея в темноте; склонившиеся к дороге колосья слабо касались моих сапог

и рук, и прикосновения эти были похожи на молчаливую, робкую ласку. Воздух был тепел и чист; сильно мерцали звезды; пахло сеном и пылью и изредка горьковатой свежестью ночных лугов; за полями, за рекой, за лесными далями слабо полыхали зарницы.

Скоро дорога, мягкая и беззвучная, ушла в сторону, и я ступил на твердую, мозолистую тропку, суетливо вившуюся вдоль берега реки. Запахло речной сыростью, глиной, потянуло влажным холодом. Плывущие в темноте бревна изредка сталкивались, и тогда раздавался глухой слабый звук, будто кто-то тихонько стучал обухом топора по дереву. Далеко впереди, на другой стороне реки, яркой точкой горел костер; иногда он пропадал за деревьями, потом снова появлялся, и узкая, прерывистая полоска света тянулась от него по воде.

Хорошо думается в такие минуты! Вспоминается вдруг далекое и забытое, обступают тесным кругом когда-то знакомые и родные лица, мечты сладко теснят грудь, и мало-помалу начинает казаться, что все это уже было когда-то... Будто проходил уже прохладными от сырости оврагами и сухими борками, и река темнела, с плеском обрывались в нее куски подмытого берега, тихонько стучались плывущие по воде бревна, и появлялись и исчезали черные стога сена, и деревья с искривленными в немой борьбе ветвями, и зарастающие тиной озерца с черными окнами... Только никак не вспомнить, где же, когда это было, в какую счастливую пору жизни.

Я шел уже часа полтора, а до озера было еще далеко. Ночью тяжело идти: надоедает спотыкаться о корни и кротовые кучи, устаешь от боязни сбиться с дороги, заблудиться в незнакомом лесу. Я почти жалел уже, что ушел ночью из дому, и думал, не присесть ли под деревом, не подождать ли рассвета, как вдруг до меня донесся тонкий, дрожащий звук, похожий на песню. Я остановился, прислушался... Да, это была песня! Слов нельзя было разобрать, слышалось только протяжное: «Оооо... Ааааоо...», но я обрадовался этому голосу и на всякий случай прибавил шаг. Песня не приближалась и не удалялась, а все так же тянулась тонкой, запутанной нитью. «Кто это? — думал я. — Сплавщик? Рыбак? Охотник? А может быть, как и я,

идет ночью, идет впереди меня и, чтобы не было скучно, поет песню?»

Я пошел быстрее, выдрался из елового колка, прошел осиновым подлеском и наконец внизу, в небольшом распадке, окруженном со всех сторон густым лесом, увидел костер. Возле него, подперев рукой голову, лежал человек, смотрел в огонь и негромко пел.

Спускаясь вниз, я споткнулся, громко затрещал валяжником. Человек у костра замолчал, живо повернулся, вскочил и стал вглядываться в мою сторону, загораживаясь ладонью от костра.

— Кто тут? — вполголоса испуганно спросил он.

— Охотник, — ответил я, подходя к костру. — Не бойтесь...

— А я и не боюсь. — Он сделал равнодушное лицо. — Мне что! Охотник так охотник...

Человек, на чью песню я так спешил, оказался кривоногим парнем лет шестнадцати. Он был некрасив, с худой кадыкастой шеей и большими оттопыренными ушами. Одет он был в телогрейку, замасленные ватные брюки и кирзовые сапоги. На голове, будто приклеенная, сидела маленькая кепочка с коротким козырьком.

Несколько секунд он пристально разглядывал меня, потом с видимым любопытством спросил:

— За утями идете?

— Да вот хочу на озеро пройти, — сказал я, снимая ружье.

— Это на какое же?

Я объяснил.

— Ну, тут близко! — успокоил он меня и, повернув голову к реке, прислушался. — Это не вы сейчас кричали? — спросил он немного погодя.

— Нет... А что?

— Не знаю, кричал кто-то. Крикнет, помолчит, опять крикнет... Я хотел было идти, да Лешка забоялся, брат мой...

Он снова замолчал, и я услышал частые легкие шаги. Кто-то бежал от реки сюда, к костру.

— Семен, Семен! — послышался испуганный и восторженный мальчишеский голос.

Из темноты на свет костра выскочил мальчик лет

восьми в большой, не по росту, телогрейке. Увидев меня, он сразу остановился и, приоткрыв рот, стал переводить взгляд с меня на Семена.

— Ну что? — лениво спросил Семен.

— Ой, Семен! Сидит кто-то! — Мальчик снова посмотрел на меня и перевел дух. — На двух крайних нету, а на средней сидит! Я рукой взялся, а там — ходит!

— Врешь!

— Большая рыбина ходит! — И он сделал рукой волнообразное движение, показывая, как «ходит».

Семен вскочил, подтянул штаны и, пробормотав «Я сейчас!», пропал в темноте. Мальчик некоторое время не моргая смотрел на меня, потом, не отводя от меня взгляда, ступил назад раз, ступил другой, повернулся и тоже бросился в темноту, только ноги затоптали.

Скоро я услышал странную возню, приглушенные голоса, плеск воды; затем все стихло, раздались шаги, и ребята вернулись к костру. Семен нес на вытянутой руке небольшую стерлядку. Стерлядка слабо шевелила хвостом.

Запихнув рыбу в полотняную сумку, Семен сел возле меня и, улыбнувшись, сказал:

— Вот так и ловим. Три штуки уже поймали.

— Одну я вытащил, — прошептал мальчик и, потупившись, стал теревить пуговицу на телогрейке.

— Н-но? — веско произнес Семен и зловеще замолчал.

Мальчик засопел и еще больше смутился.

— Брат мой, — отрекомендовал мне его Семен, — Лешка. Вы не глядите, что он тихий, — притворяется...

Леша пробубнил себе что-то под нос.

— Что? — Семен широко открыл глаза. — Что ты сказал?

— Ничего... — испугался Леша.

— Смотри у меня! — Семен исподлобья глянул на меня, и вдруг мгновенная озорная улыбка осветила его лицо; блеснули глаза, сверкнули зубы, даже уши сдвинулись.

Леша тоже фыркнул, но тотчас спохватился и еще ниже опустил голову. Семен полез в карман, немного помедлил, вытащил наконец измятую пачку папирос, закурил и предложил мне. Я отказался.

— Не курите, значит? — сожалеюще сказал Семен и покосился на Лешу.

Потом облокотился, сладко зевнул, поежился и замер, мечтательно глядя в огонь. Лицо его затуманилось и приняло то теплое, неопределенное и поэтическое выражение, какое бывает у людей, думающих о чем-то неясном, но очень хорошем. Костер потухал, угли, остывая, подергивались красноватым пеплом; кругом стояла глухая ночная тишина, только наверху, где-то в кустах, позванивая боталом, бродила лошадь.

Леша внезапно поднял голову и прислушался.

— Идет кто-то, — боязливо выговорил он и пересел ближе к Семену.

— Ерунда! — сказал Семен и покосился на мое ружье.

Несколько секунд прошло в безмолвии, затем явственно послышался хруст валежника. Семен загадочно посмотрел на меня и напряженно усмехнулся.

— Медведь, наверно, — прошептал Леша и еще ближе подвинулся к Семену. Глаза его с расширенными зрачками стали огромными.

— Полуношничаем, рыбаки? — неожиданно громко раздался хриловатый голос, и к костру, как-то сразу обозначившись, подошел пожилой человек с ружьем.

Не взглянув на нас, он вытянул ногу к огню и стал, огорченно побрякивая, разглядывать оторвавшуюся подметку.

— Ах, будь ты неладна! — бормотал он. — Вот okazия, а? Ну что, угадал я? Рыбачите? — снова обратился он к нам и поднял голову. — Э-э, да тут знакомые! — Он улыбнулся ребятам. — Что же, много наловили?

Семен воровато бросил папироску в костер и строго посмотрел на Лешу. Тот фыркнул.

— Маловато, Петр Андреич, — смущенно заулыбался Семен. — Разве вот под утро что будет...

— А ну покажь, покажь...

Семен с готовностью вывалил рыбу из сумки.

— А, стерлядки, — с удовольствием выговорил Петр Андреевич. — Ну и хорошо. Мелковаты только.

— Раз на раз не приходится, Петр Андреич.

— А конечно, — охотно согласился Петр Андреевич и задумался.

Глядя в огонь, будто уйдя от нас куда-то, он машинально полез в карман, вынул папиросы, закурил, бросил спичку в костер и все так же бездумно проследил, как она горела маленьким ярким пламенем и, погаснув, растаяла, слилась с розовым пеплом.

Был он не стар, но с глубокими морщинами на щеках; губы тонкие, нос длинный и тоже тонкий, лоб шишковатый, узкий. Вообще лицо его производило впечатление чего-то жесткого, напряженного. Ружье у него было старое, одноствольное, с перетянутым проволокой прикладом; из сапога с оторвавшейся подметкой выглядывала портянка...

— А вы что, или на Суглинки идете? — спросил вдруг Семен.

— А? — вздрогнул Петр Андреевич. — На Суглинки? Почто на Суглинки? Бреду дальше...

— А то наш механик давеча полную сумку приволок оттуда.

— Двух щук поймал на дорожку, — вставил Леша. — Бо-ольшие щуки.

— Это Попов-то? — спросил Петр Андреевич. — Ну, ему хорошо — он с собакой. Нет, я дойду до Овпанки, а там полеее, аккурат у реки, озерцо есть, маленькое озерцо-то...

— Около Овпанки? — задумчиво переспросил Семен. — Нет, в тех краях не был я... Не приходилось. Я все больше по этому берегу места знаю.

Снова помолчали. Петр Андреевич переступал с ноги на ногу, негромко покашливал. Леша свернулся калачиком возле брата. Ему было очень хорошо, это проглядывало решительно во всем: в уютной позе, в блеске глаз, частой улыбке...

— Не знаешь, перевозчик у себя? — спросил Петр Андреевич.

— У себя. Давеча проплыл вверх. С гармошкой плыли... Гуляют они. Сын женился. Мотьку Медуницыну из второго цеха взял.

— Это рябенькая такая?

— Она. Чего он хорошего в ней нашел? Я бы не женился на такой...

— Ну, ты еще в этих делах не понимаешь, — усмехнулся Петр Андреевич и повернул голову в сторону перевоза, как бы надеясь услышать гулянье. — Так гуля-



ет, говоришь, перевозчик-то? А он перевезет ли меня? — обеспокоился вдруг он. — Не повезет, пожалуй, а? А то — повезет да и утопит? Пьяные, наверно, все...

Семен тоже повернулся в сторону перевоза.

— Кто его знает, — сказал он неуверенно. — Да вы лодку-то сами отвяжите да и переедете. У него ведь их три, лодки-то.

— А и верно! — Петр Андреевич засмеялся и посмотрел на свой сапог. — А тут еще тоже холера! Подошва-то напрочь отскочила. Нет ли веревочки? Иду, понимаешь, темень... О корень споткнулся, будь ты неладна, — только тряхнуло!

Леша вытащил из-за пазухи кусочек бечевки. Петр Андреевич взял его, подергал и стал перевязывать головку сапога.

— Вы на что ловите-то? — спросил он.

— На подонник, — быстро ответил Семен. — На миногу.

— На миногу? Это хорошо, на миногу, она ее любит, стерлядка-то. А тут я иду, смотрю — на той стороне волки воют. Не слышали? Подрос, видно, молодняк-то.

— У наших соседей, — оживился Леша, — волк козу утащил. Прямо днем! Коза-то старая была, худая. Как он ее схватил, она мемекнула — и готова! А он через огород — да полем, полем в лес... Дядя Федор с топором выскочил, глянул да как топором в стенку сада нет! Так и сейчас в стене торчит, никто вынуть не может...

— Это верно, было такое дело, — подтвердил Семен. — А то еще было. Иду я тут как-то с рыбалки, а уж вечер, смеркалось... Так только, немного на закате желтеет, да дорога видна хорошо. И вот прошел я лесок, что за кладбищем, знаете? И будто кто меня толкнул: оборотился я и сперва не разобрал, а после гляжу — возле кустов будто темнеет что и глаза горят, ровно гнилушки. Трое их, значит, сидят и на меня глядят, а у меня ноги сразу встали, как другой раз во сне бывает: хотел бы бежать, да не могу, и потом ошибло... Думал, конец, но обошлось, не тронули.

— Летом они к человеку смирные, не трогают, — уверенно сказал Петр Андреевич.

— Дядя Петь... — начал Леша, взглянул на нас и

улыбнулся.— А ведь мы на вас думали — медведь! Идет похрастывает...

— Кто думал-то? — Семен пожал плечом.— Сам думал, так на других не вали.

— Нет, ребятки,— улыбнулся Петр Андреевич,— медведь на огонь не полезет. Хотя и так рассудить: кто тут по ночам бродит? Только медведи да охотники... Тоже охотник? — обратился он ко мне.— Может, места здешние незнакомы вам, так пойдемте со мной. Не хотите? Ну-ну... Конечно, всякий ко своему месту стремится.

Петр Андреевич посмотрел на звезды и протянул широкую темную ладонь Семену.

— Прощай покуда. Побреду, а то скоро светать начнет... Да! Ведь я слышал тебя прошлый раз в клубето... Отец небось гордится? Молодец!

Он похлопал Семена по плечу, кивнул нам с Лешей и пошел во тьму, осторожно ступая перевязанным сапогом. Семен сидел, низко опустив голову, ковырял мозоли на ладони и хмыкал. Уши его потемнели.

Леша вдруг потянулся, выгибаясь всем телом, зевнул и потер глаза.

— Спать охота! — заявил он.

— Ну и спи.— Семен почесал брата за ухом.— Спи.

— Да,— Леша недоверчиво улыбнулся,— а сам утром пойдешь проверять и не разбудишь.

— Да разбужу, вот чудашка!

— Дай честное комсомольское!

Семен взглянул на брата, снисходительно улыбнулся и лег на спину. Было примерно около двух часов, тьма стала как будто еще плотнее, хотелось лечь и смотреть попеременно в огонь, на звезды, на едва видные ближние деревья, слушать редкие и неясные ночные звуки, гадая, птица ли перепорхнула, шишка ли упала или так что померещилось...

— Лешка! — встрепенувшись, сказал Семен.— Тащи дров!

Леша вскочил, исчез во тьме, громко затрещал сучьями и скоро принес целую охапку сушника. Отобрав сучья поменьше, он навалил их на костер, сел на корточки и, выпучив глаза, стал раздувать огонь. Он дул так сильно, что от костра полетели угольки, тучей поднялся пепел.

— Гляди лопнешь, — серьезно заметил Семен.

Леша поднял голову, взглянул на нас бессмысленным взглядом и продолжал дуть с неистовой силой. Наконец сучья все разом ярко вспыхнули, затрещали, вверх полетели крупные искры. Стало горячо, и мы, жмурясь, отодвинулись от огня.

Я любопытствовал, за что хвалил Семена Петр Андреевич. Семен смутился и опять принялся за свою ладонь.

— Да так, вообще... — пробормотал он.

— Он музыку сочиняет, — охотно сказал Леша. — У нас в школе даже два раза играл и в клубе...

— Ну? — повернулся к нему Семен. — Дальше что?

— Ничего...

— Тогда помалкивай!

Семен кинул на меня быстрый испытующий взгляд и нехотя признался:

— Вообще-то, конечно, любитель я этого дела.

— Ему батя баян купил, — опять не вытерпел Леша. — Он знаете как на баяне играет! Он что хочешь вам сыграет!

— Это верно, — подтвердил Семен и вздохнул. — Верно, играю. А только у меня мечта есть, такая мечта! Как песня раскрывается? Ведь песню-то, ее можно всяко повернуть, и сыграть ее можно, как никто не играл. Правильно я говорю? Я как играю? Беру мелодию и прибавляю к ней еще голос, и вот песня уже сама по себе, а голос вроде сам по себе. А можно, ежели мало, еще один голос прибавить, и тогда уж получится совсем иная музыка. Но и тут не все. Это только правая рука, а в левой — там гармония. Аккорды, значит. Возьмешь аккорд, вроде и хорошо, но ежели прикинуть на тонкий слух, то чистоты настоящей и вкуса нету. Нету истинной чистоты! А песня, особо ежели долгая, она должна свой запах иметь, вот как река или лес. Я вот беру в клубе сборники для баяна. Ну, сыграю и вижу: не то! Схватит меня за сердце, не могу я, ну совсем не могу, — и начинаю по-своему перекладывать...

Он вдруг подозрительно взгляделся в меня, стараясь угадать, не смеюсь ли я над ним. И, успокоенный, продолжал, часто моргая, шевеля пальцами темных рук:

— У меня мечта есть: сочинить одну вещь, чтобы вот такую ночь изобразить. А что? Лежу ночью у кост-

ра, и вот у меня в ушах так и играет, так и мерещится. А сочинил бы я так: сперва чтобы скрипки вступили тонко-тонко. И это была бы вроде как тишина. А потом еще и скрипки тянут, а уже заиграет этот... английский рожок, таким звуком — хриповатым. Заиграет он такую мелодию, что вот закрой глаза и лети над землей куда хочешь, а под тобой всё озера, реки, города, и везде тихо, темно. Рожок играет, а виолончели ему другой голос подают. Поют они на низких струнах, говорят, вроде как сосны гудят, а скрипки всё свое тянут и тянут тихонько. Тут и другие инструменты вступают и все вместе играют громче и громче: ту-ру-рум! Тум-тум, та-та-та-та... И заиграет весь оркестр необыкновенную музыку! Главное, чтоб там инструменты были, которые как колокольцы звенят. Ну, а после надо понемногу инструменты убирать, и будет все тише и тише, и окончат опять же одни скрипки. Долго будут тянуть, пока совсем не замрут...

Семен смотрел в темноту, моргал, облизывал пересохшие губы.

— А еще,— продолжал он,— надо будет колокол добавить, чтобы он звонил равномерно. Только потихоньку. А как луна из-за леса выходит, ведь это можно изобразить?.. А назову я ее «Ночь». Или нет! Надо чтобы покрасивше было... Вот лучше: «Ночная сказка» или «Ночная звезда»... Я вот рассказать вам не могу про ночь и все такое, ну, звезды там или туман над рекой. А в музыке я все могу. На сердце щемит у меня, лягу спать — не сплю, а засну — часто такая музыка играет! Проснусь — все хочу вспомнить, и не вспомнишь... Учиться надо, это уж обязательно! Я лебедчиком работаю, лес на берег выкатываю. Сижу я, рычагами кручу, зазвенит лебедка, или автомашина просигналит, или гудок на обед прогудит, а я тренируюсь, звуки определяю, какой звук: «до» там или, может, «фа-диез»...

Семен вдруг замолчал, смущенно улыбнулся и стал поправлять костер. Неожиданно что-то странное и мощное родилось в воздухе, родилось, нарушило ночную глушь, всколыхнуло настоявшуюся звездную тишину, пронеслось по реке.

— Эге-геее!.. — донесся к нам низкий могучий вопль.

Мы сразу повернулись к реке и первое мгновение недоуменно прислушивались. Тишина... И опять незримо пролетел мощный крик:

— Эге-геее!...

— Сплавщики голос пробуют! — облегченно засмеялся Семен. — Правда здорово? По реке звук далеко разносится. Лодка ночью плывет, так за версту слышать, как весла скрипят. А то в другой раз такое послышится, что и не поймешь, что такое. Вроде крикнет кто или вздохнет, или вот так тихонько: «Тииу, тииу, тииу»...

Он очень похоже изобразил странный звук, который и я часто слышал ночью на берегу рек и болот и никак не мог догадаться, что бы это значило.

— Лешка боится, а я нет, — улыбнулся Семен. — Скучно, правда, одному, а так — хорошо!

— Никого я не боюсь! — сказал вдруг громко Леша и прищурился.

— Не боишься? А ну-ка, сходи сейчас на Хлыстово болото, принеси мне оттуда метелок. Ну? Сходи, сходи!

Леша повел ртом, оглянулся назад в темноту и засмеялся. Семен помолчал немного.

— Народ здесь сильный ужасно, — снова начал он. — Есть ребята силы такой, что хоть кого хочешь побьют. Вы думаете, этот сплавщик по делу кричал, а он просто так: на берег выйдет и орет, слушает, как его голос по лесам раздается.

— Дядь, а дядь! Стрельните! — попросил внезапно Леша и жадно посмотрел на ружье.

— А ты сам стрельни, — ответил я, подавая ему ружье.

— Баловство! — недовольно сказал Семен. — Только патрону перевод.

Но в глазах его зажглось такое же, как и у Леша, острое любопытство. Леша огляделся, увидел высокий осиновый пенёк недалеко и через секунду уже старательно укреплял на этом пне свою старую шапку.

— погоди! — строго остановил его Семен. — Сейчас огонь раздуем, виднее будет.

Он навалил на костер хворосту. Пламя померкло, пополз густой розовый дым, потом тонкие голубоватые язычки стали там и сям выскакивать наверх, наконец сразу занялась вся куча.

— Давай! — скомандовал Семен и, отгородившись от огня ладонью, уставился на пень с шапкой.

Леша стал целиться. Целился он страшно долго, шмыгал носом, переводил дыхание, смотрел на курок, на палец... Ожидание выстрела становилось тягостным, и я заметил, как напряглась у Семена рука, а глаза прищурились, будто он смотрел на яркий свет.

— Да скоро ты... — не выдержал он.

Но в этот момент ружье в руках Леша подбросило вверх, сверкнул длинный голубоватый сноп пламени, оглушительно бахнул выстрел, шапка исчезла, а эхо пошло перекатами по реке и лесам. Наверху испуганно всхрапнула лошадь, зазвенело ботало, затрещали кусты. Леша бросил еще дымившееся ружье и стремительно кинулся в темноту.

— Здорово! — восхитился Семен и потянулся навстречу Леше, возвращавшемуся с шапкой. — Вот это бьет!

Шапка была торжественно исследована при свете костра. В нее попало несколько крупных дробинок, и вата клочьями торчала из подкладки.

Семен задумался.

— Знаете что? — обратился он ко мне. — Хотите, поведу я вас на такое место, в каком отродясь никакие охотники не бывали? Возьму отгул, у дяди ружье попрошу... Эх, и закатимся мы с вами дня на два! Тайное место, птица там непуганая. Идешь по лесу: направо — рябчики, тетери, глухари, налево — озеро, а на том озере гуси и крякуши открыто плавают и на выстрел допускают близко, а после выстрела никуда с озера не улетают, только отлетывают малость. Там я был один раз с дядей и дорогу туда помню. Никого там нету: ни охотников, ни ягодниц, а только одни медведи по малину ходят. Медведи смирные, из-за кустов поглядывают. А брусника там растет такая, что ежели выйти на гарь да поверху кочек глянуть, то все кочки кажутся красными. Земляника растет, и землянику ту никто не берет, и вся она черная, переспелая и такая сладкая — слаще сахара! Войдешь в смородиновые кусты — такой в них крепкий дух, что голова кружится. А ежели по кустам идешь, то тетери и глухари совсем близко подпускают, а потом только — тых, тых, тых! — взлетают, и ветер от них аж в лицо дует. Еще

там белки в лесу скачут, только они сейчас рыжие, шерсть у них никудышная, и мы их не бьем. А еще там под косогором, ежели через завалы переберешься, овраг перелезешь да вниз спустишься, родник есть, ключ по-нашему, и сколько я разной воды перепил, но такой никогда не пил, и вода там, надо думать, лечебная...

Леша тем временем все крепился, крепился, не выдержал, жалко скривил лицо, шмыгнул носом и затащил отчаянно:

— Семе-ен...

— Ну? — Семен с удивлением посмотрел на брата.

— Семен, возьми меня-а... — тянул Леша, и было видно, что страдает он невыносимо.

— Как—взять? — с сомнением спросил меня Семен.

Большие мокрые глаза Леша тотчас уставились на меня. Я задумался. Я думал долго и мрачно.

— Взять? — снова с сомнением повторил Семен и критически осмотрел Лешу.

Тот pokrивился и крепко сжал задрожавшие губы.

— Возьмем! — решил я наконец.

Леша тоненько засмеялся, вскочил и вытер длинным рукавом глаза.

— Ага! — торжествующе закричал он. — А вот и пойду, а вот и пойду!

И он, победоносно глядя на Семена, стал приплясывать возле костра, на разные лады повторяя: «Что? А вот и пойду! Что? А вот и пойду!»

...Я оглянулся. Небо на востоке посветлело и чуть отливало зеленью. Пала роса, и воздух посвежел. Деревья определились. Нет, света еще не было, но с каждой минутой все виднее становились отдельные кусты, ветки, елки, даже шишки. Ночь кончилась, наступал самый ранний полурассвет, то время утра, когда петухи в деревне, хрипло прокричав свое «ку-ка-реку», еще крепче засыпают.

Мне пора было идти. Я взял ружье и попрощался с ребятами.

Едва я отошел от костра, как сырой, холодный воздух охватил меня со всех сторон и сапоги заблестели от росы. Сорока неслышно сорвалась с вершины белевой ели, быстро и молча полетела, ныряя на лету, на восток, навстречу рассвету.

И успел уже порядочно отойти — взобрался на гри-ву, отыскал тропу и зашагал к озеру, — когда меня опять настигла песня Семена. И снова не разобрать было слов, не уловить мелодии, но я знал теперь, что песня эта прекрасна и поэтична, потому что рождена чистым талантом, красотой меркнувших звезд, великой тишиной и ароматом увядающего лета.

«Аааа... ооооа...» — дрожал далекий человеческий голос, а внизу подо мной сонно журчала река, тихонько стукались друг о друга плывущие по воде бревна, и мне казалось почему-то, что на реке, скрываясь в полупрозрачных завитках тумана, тихо сидит в лодке мудрый человек и стучает обухом топора по плывущим мимо бревнам, стараясь по звуку угадать их крепость и чистоту.





## РОЗОВЫЕ ТУФЛИ

*Рассказ сапожника*

1

...«Пьет, как сапожник», — это вы правильно сказали, ну и поговорка такая есть, это точно. Но вспомнил я батюшку своего, и стало мне нехорошо от ваших слов. Конечно, наш брат сапожник другой раз очень сильно пьет. Только не всякий пьет — это одно. А второе: почему пьет — тоже вопрос.

Жизнь человеческая, она, знаете, у каждого всяко складывается, и, как я понимаю, на одну линию всех вывести нельзя нипочем. Для примера хочу я вам рассказать про себя немного, а главное — про своего батюшку Гаврилу Демьяныча, чудотворного мастера, как

он жил и как к смерти пришел. Ну, а чтобы вам все доподлинней стало, должен я и предков своих помянуть, потому что специальность наша потомственная и весь наш род сапожники.

Я, правда, не граф какой,— родословной своей, как там у них называлось, я не знаю, но только считаю: напрасно это. Напрасно не велось у нас чтить предков своих — мастеров, пахарей и вообще рабочего люда. Потому что нами только и стоит земля и все прекрасное на ней содеяно опять же нами!

Жизнь моя горемычная началась с дедушки моего по матери. Человек он был, надо вам сказать, необычайный и жил на свете до ста шестнадцати годов. Как теперь вижу его: высокий, в кости тонкий, собой с лица темен, как икона, борода апостольская, белая, глаза голубые, как небушко утром, и все зубы целые и чистые.

Был он у нас святой и молельник и весь к богу обращен. На половине жизни пала ему в глаза темная вода, и ослеп он совершенно в одну ночь. Скажет, бывало, мне с удивлением:

— Во снах вижу все, людей вижу, деревню, и как в церкви служат, и поля часто вижу, как ржица переливается, а встану — и прощай все, а так во снах все вижу...

Начал он после того странствовать и молился до того, что рубаха на груди и плечах просекалась. А земель разных обошел столь много, что уж и не было ему чего боле обходить. Бывало, пропадал из деревни года на два, на три, уж его и заупокой поминать начинали, но только каждый раз он вдруг опять объявлялся.

Все он обошел, не пришлось ему только на Святых островах побывать, в Соловецком монастыре. Матушка моя рано померла, и не упомяну я ее совсем. Батюшку же в ту пору на войну забрали, в Маньчжурию — это когда с японцами воевали,— и жил я у тетки своей родной. Вот дедушка возьми да и приди раз как-то к ней. Отпусти, мол, внучка со мной поводырем, хочу к соловецким угодникам сходить. Ну, тетка особенно возражать не стала, у ней у самой восемь ртов было, да, правду сказать, и мне хотелось на свет белый поглядеть.

Вот мы с дедушкой и снарядились в путь. Шли дол-

го ли, коротко ли, а почитай два месяца: вышли мы с деревни в апреле, аккуратно после пасхи, как только земля немного обсохла. Добрались до реки Сухоны, сели на пароход и побежали вверх, к Архангельску. Был июнь, но холодный ужасно, с ветром и дождем. Волна по реке шла с пеной, и ветер навстречу водяную пыль нес. Ехали же мы вниз, на палубе,— там все странники грудились,— и хотя от машины тепло шло, но дул неистовый ветер по бортам и так прохватывал, что дедушка мой простыл вскоре.

Кашлял он сильно, дрожал и закатывался, но сперва все крепился, а потом уж и сил не стало, сидеть даже не мог. И посадили нас тогда в городе Великом Устюге. Был тогда, кажись, духов день, колокола в городе звонили, и пока дедушку в больницу на дрогах везли, он все крестился, улыбался радостно, хоть уж и глаз не открывал.

Полежал он в больнице три дня, а на четвертый помер, и остался я совсем один... Денег при нем нашли что-то рублей пять, еле на похороны хватило. И вот похоронил я его, вернулся назад к сторожу больничному Софрону, который приютил меня на ту пору, залез на печку и заплакал неутешными слезами. А и было же от чего плакать! Матушки нету, батюшка в Маньчжурii, дедушка помер, один я остался на свете, а было тогда мне десятый годок... И началась поэтому вскорости моя трудовая жизнь.

## 2

Сторож Софрон сходил куда-то и вот этак через неделю велит мне сапоги обути и ведет к шкатулочному мастеру Цыганкову. А город Великий Устюг, надо вам сказать, всегда знаменит был замками, да шкатулками, да чернью по серебру.

Привел меня Софрон к мастеру, просит:

— Вот, Петр Иванович, сирота, возьмите, будьте так добры, к себе в ученики...

Поглядел тот на меня, бороду заскреб, вздохнул. Потом блюдце чаю выпил, сахар из рта обратно на стол выложил.

— Шибко мал,— говорит.— Ну, а так оставь буди на недельку, посмотри, что с него будет.

Остался я у Цыганкова, стараюсь изо всех сил угодить ему, летаю стрелой, в глаза смотрю. Прошло дня четыре, послал мастер за Софроном, повздыхал и говорит:

— Хотя мал, за дело принимается хорошо. Беру его на пять лет мальчиком, бесплатно, но на всем готовом — содержание и одежда.

И началась тут для меня настоящая выучка и жизнь тяжелая и сиротская. Раньше ведь как учили? Теперь все: и ремесленные, и ФЗУ — два года проучился, разряд дают, и вот ты уже самостоятельный рабочий, и дорога перед тобой открытая. Раньше же далеко не то было, и сперва немалые годы просто в услужении побудешь, прежде чем тебя к мастерству подпустят. А мастерство у Цыганкова было редкое и на любителей художественности.

Делал он шкатулки изумительные, и во всех музеях есть ныне его работа. Первое дело в шкатулках были замки. Шкатулка — это вам не горшок какой-нибудь, а хитросплетение мастерства, и посему в замке обязательно должна была заключаться какая-нибудь хитрость, и делали замки с секретами. Были мастера, которые необычайно искусные шкатулки делали, в коих заключалось до десяти различных секретов и музыка. Чтобы когда ключ поворачивали, звон приятный стоял на разные голоса. Все отверстия — и самые замки, и секреточки, куда ключи ложились, — все было закрыто фигурными щечками на пружинках и подогнано заподлицо. Для того чтобы щечки отскакивали, надо было надавливать в разных тайных и вовсе гладких поверху местах.

А еще прелесть была в том, что шкатулки сверху обивались не простой жостью, а специальной — с «морозом». «Мороз» же делали особые мастера, поскольку дело это требует большого искусства и не у всякого рука играет и в голове фантазия есть.

Для «мороза» жость подогревали и в горячем виде пропускали через расплавленное олово. Потом наполняли водой брызгалку и брызгали на горячую жость, после чего по остывшей жести водили заячьей лапкой, смоченной в царской водке. И получался «мороз» наподобие узоров на стекле. Это был простой, белый «мороз». А для желтого — жость покрывалась чистым

масляным лаком. Потом ее сажали в печь, и выходил золотистый «мороз», как солнце вечернею порою.

Цыганков, хоть мужик грубый был, бородастый и краснопалый, но работал дивно и неестественно. Подмастерье ему из березовых плашек заготавливал основу — стенки и крышку выпуклую — и шкуркой обдирал и шлифовал. А Цыганков придет в мастерскую, фартук наденет, богу помолится и садится. Сперва молча работал, а после петь начинал, без слов, а так: «го-го-го» да «го-го-го» — разливается, молотком постукивает, жесть кроит, загинает, замочки вставляет. И вот как пустит по крышке, вроде как у сундучка, переплеточку выпуклую, да набоечки кружевные вырежет, да к уголкам приспособит, да слюды слоистой подложит, да повертит крышку перед собой так и сяк, гвоздиками прихватит, полюбуется, тукнет там и сям — ну просто царская вещь! А потом по нутру начнет выкладывать бархатом алым или атласом, да ключи полировать, да замки пробовать — звон стоит и сверканье, а на стол поставит шкатулку готовую, ну знаешь же, пустая она, а на вид такая кубышечка тяжеленькая, что так и кажется, будто золотом наполнена: тронь ее — и запоет густым плотным голосом.

Но, как я сказал уж вам, к ремеслу меня не допускали, а обязан я был все черное делать, всякую тяжелую работу. Бывало, ведер пятнадцать воды в день натаскаешь для прополаскивания железа, а потом грязную воду обратно вынесешь. Тут же скажут и дров наколоть и опять же с реки воду — на чай.

Помню, пошел я как-то за водой под вечер, прорубка во льду маленькая была, воду черпали ковшиком. И вот обледенел у меня ковшик, вывалился из рук и утонул. Прихожу домой, дрожу, плачу: ковшик утонул! Хозяин руками всплеснул, нахмурился, посопел и говорит:

— Как хочешь доставай!

Было это в субботу; думаю, завтра спозаранку встану, пойду доставать. Лег я спать, только уснул, вдруг как кто толкнул меня, проснулся и стал ужасаться, как это я ковшик достану. Утром встал затемно еще, пошел на реку. Пальтишко снял, рукава загнул, шарю в воде, пальцы так огнем и горят. Место неглубоко было, а дна никак не достанешь. Пришел пустой домой.

— Что, достал? — хозяин спрашивает, не забыл.

Сделал я из проволоки крючок, опять пошел. Достал наконец и как обрадовался! А цена-то ковшику двенадцать копеек была.

Через год работы мне прибавилось. До того нянька была, потом ее рассчитали, и пошел весь дом на меня. В воскресенье встанешь часа в три утра, всю медную посуду вычистишь — два самовара, поднос, рукомойник, два таза, подсвечники, кастрюли... Раньше была в почете медная посуда — чтобы всегда чистая была. На всю чистку уходило часа три. Все спят, разбудишь их, позевают, походят по дому, пойдут к обедне. А я тем временем дров принесу, в печку складу, самовар наставлю, постель у хозяев заправлю, пол подмету. Они с обедни придут, чай начинают пить, а я иду во дворе снег чистить. Напьются хозяева, зовут:

— Поди, малой, чай пить!

После я с хозяином на рынок иду, таскаю за ним кошелку, а кошелка пудовая — на всю неделю накупали. С рынка ворочусь, опять дрова колоть на неделю, на реку за водой ходить. Настанут сумерки, спать хочется — нет мочи, а хозяйка говорит:

— Поди, малой, в амбар, муки насей!

А насыпка тяжеленная, наложишь в решето муки побольше,хватишь рукой, а мороз, мука холодна, так руки и рвет! Потом хозяева отужинают, отправляются в гости. Меня с детьми оставляют: старшим — три года и два, младшему — семь месяцев. Побольше — тех укладешь, маленького сидишь качаешь в люльке. Омочится, возьмешь распеленаешь, молоком напоишь, кашкой накормишь.

Это все в воскресенье, а в будни дни еще должен был я хозяину на работе помогать. И вот живу у них год, другой, вижу: нету мне спасения, задавят они меня работой — как пьяный хожу и соображать плохо стал, наподобие дурачка. Шел мне тогда тринадцатый год, только был я маленький очень и худой — совсем худо рос. И задумал я бросать это дело и уходить.

Вспомнилась мне родина милая — со Смоленщины я родом, — какие у нас там поля. Вспомнилась деревня, как по вечерам печки топят да скотину с лугов гонят, и заныло у меня на сердце. Написал я тогда же письмо домой, поплакался и вскорости получаю ответ от ба-

тюшки: радуется очень, что меня вновь обрел, домой зовет и денег выслал на проезд. Пишет, что давно с Маньчжурии воротился, только в ногу раненный, и живет дома, сапожничает по-прежнему.

Духом собрался я, разузнал у грамотных людей, как мне на Смоленщину подаваться, купил билет на пароход, поплакал немного, простился с хозяином и поехал домой.

3

Ох, и велика же и длинна жизнь наша! Чего только не перемыслишь с детства и до старости, куда только не кинешься, чего не навидаешься,— но если заложен в тебе родовой корень и определен тебе путь к мастерству и труду, то и станешь навек, как отцы и деды наши были, потомственным мастером.

Дедушка мой по отцу сам был донской казак родом. В 1812 году попал он на фронт к атаману Платову и дошел до самого Парижа. Человек он по всем статьям был отчаянный, ухарь, крестов и медалей за храбрость нахватал уйму, а один раз пришлось ему так, что спас он жизнь офицеру своему, поручику, по фамилии Озерцев.

Поручик тот был дворянин, родом сам с Дорогобужского уезда, Смоленской области, там же у него было имение, и вот он в благодарность стал дедушку сманивать к себе жить. Сулил ему золотые горы, на девушке хорошей женить, приданое справить и все хозяйство. То ли у дедушки на Дону родни не было, то ли полюбился ему тот поручик, только согласился он и после мира приехал к тому в имение.

Нарезал поручик дедушке земли, избу поставил, женил, и все такое. А потом взял и помер в одночасье, а с наследниками другой вышел разговор: землю у дедушки отобрали, налог заставили платить огромный за все прошлые года. Опять же не знаю почему,— может, привык уже, а может, дети пошли и нельзя было с семьей подыматься,— но только не уехал мой дедушка на Дон, остался на Смоленщине.

Фамилии его я не знаю, а по-уличному была ему кличка «Колдун», отсюда и мы все пошли Колдуновы, как дети колдуна. Что же касается колдовства, не

знаю, как вам сказать, но слышал я от батюшки много разных историй про него. Да вот хотя бы такой случай взять.

Был как-то дедушка в Дорогобуже на базаре, и вышло ему идти домой пешком. А идти далеко: от Дорогобужа до нашего села Озерищи верст по-старому с двадцать будет. Вышел он из города, пошел. Идет себе, и вдруг догоняет его поп сельский на лошади. Дедушка мой и просится:

— Подвези, батюшка!

А тот злой был на него, покосился да и скажи:

— Сам, мол, дойдешь, не погнешься!

Хлестнул своего жеребца — и ходу. А жеребец добрый был у него, так понес, что только пыль завилась. Дедушка мой засмеялся нехорошо да и кричит вдогонку:

— Не дюже торопись, мол, далеко не уедешь!

Поп забоялся, но ничего, только жеребца своего охлестывает. Вот едет он версту, другую, третью, вдруг — стал жеребец! Слез поп с брички, ходит вокруг, святых поминает, а жеребец только скалится и ни с места. Идет время, догоняет тем часом дедушка мой попа, смеется.

— Ну, теперя поезжай! — говорит.

Только сказал он это, понес жеребец, — отпустил, значит, он его. Еще три версты проехал, опять стал. И так всю дорогу: догонит дедушка попа — жеребец понесет; отъедет немного — станет. Так вместе они и в село прибыли. Чуть после этого поп дедушку от церкви не отлучил, архиерею писал.

Это я вам к примеру говорю, хотя сам сильно сомневаюсь, чтобы такое могло быть. В деревне, знаете, любят небылицы всякие складывать. Но не в этом главное, а в том, что как стал дедушка безземельным крестьянином, то тут уж нужно было чем-нибудь промышлять, и стал он после этого промышлять сапожничеством. И детей всех своих этому делу обучал, в том числе и моего отца. Но про отца потом, а пока, позвольте, доскажу про дедушку.

Сам я его не видал: он до меня еще помер,шибко стар был, легко помер, как дай бог всякому. Ночью сапоги закончил, лег спать на печи, утром бабка проснулась, слышит — тихо в избе. Думает: «Чего это не стучит мой Демьян?» — полезла на печку, а дедушка уж



холодный. Так вот не застал я его, а хотелось бы посмотреть, потому что страшно он талантливый человек был, как я понимаю. И особенно мне это приятно, что из самых что ни на есть простых крестьян. Это-то и доказательство насчет таланта русского народа!

Дедушка мой, помимо того что сапожничал, еще знаменитым был по уезду скрипачом. Сам на скрипке играл, детей своих выучил на разных инструментах, и вышел у них, считайте, целый ансамбль. Но дедушка не только что играл, но сам и все инструменты делал: и скрипки, и альты, и басы. Мерку он снял на первый раз в городе, в еврейском оркестре, а потом уже и сам приспособился и знал как и что. По нашим временам был бы он знаменитым на весь Советский Союз человеком, ну а тогда жизнь была темная, вырваться из нее он никак не мог, и очень мне его теперь жалко: рано родился он, вот что я думаю. А если объективно подойти, то разве и он один такой был? Сколько талантов погибло в полной неизвестности!

Характера дедушка был смиренного, работал много, а работа тогда была не в пример нашей. Изба была небольшая, ребят много, тут же и теленок в избе, и поросяенок визжит. К тому же денег часто совсем не бывало, так что ни керосину купить, ничего. И приходилось стучать молотком при лучине. А лучинушка не светло горит, об этом и в песне поется. От этой горькой нужды все дядья мои с малолетства работали, также и батюшка. И хоть дед-то смирен был, но другой раз и шпандырем лупил всех почем зря, чтобы, значит, не думали о баловстве, а работали по-настоящему. Какое же это детство!

Пил дедушка редко, но запоем. И удивительно как пил: четвертями! Пьет он, песни поет, на скрипочке себе подыгрывает — веселится, одним словом. Только всегда плохо это веселье кончалось. Сами понимаете, жизнь тяжелая, денег в доме считай что и не бывало никогда, так разве десятка какая заведется, и то бабушка богу на нее молится. А тут запой. Пьет день, другой, третий, потом начинает требовать денег у бабушки. Бабушка не дает, конечно, плачет, и тут начинается такое, что и представить страшно. Дед с топором по избе бегаёт, сундук рубит, лавки крошит, — а он всю мебель сам мастерил, совершенство же в руках его

было! Бабушка детей забирает, скрывается к соседям, а дед из сундука деньги вынет — и в кабак. Пропивал все, даже с себя до последней рубашки, ну а потом отработывает, как каторжный, и уж месяца три капли в рот не берет.

Так вот и жили. Дикая деревня тогда была, и не один мой дедушка так пил, все пили, дрались и убивали друг друга от темной жизни. В такой-то вот жизни и возрос мой батюшка, про которого я вам сейчас расскажу.

4

Батюшка мой был в семье последышем. Очень любила его бабка, баловала как могла, да к тому же братья уже выросли, переженились, сестры в люди пошли, и жить стало малость полегче. Но все равно лет с восьми начал дедушка приучать отца моего к ремеслу, а чтобы, значит, усваивалось лучше, частенько шпандырем его лупил так, что сесть потом нельзя было.

По четырнадцатому году поехал батюшка в Москву. В Москве сапожничал его старший брат, и должен был батюшка поступить к нему в подмастерья. Однако он у брата почему-то не захотел работать, а устроился учеником наборщика в типографию, снял где-то угол, и пошла для него жизнь, завертелась, милая. Уж не знаю, каково пришлось ему первые годы в Москве, а только до семнадцати своих лет успел скопить он два рубля, да и те пропали, потому что пришлось ему срочно домой уезжать дедушку хоронить, а потом в Москву он больше и не поехал. Так книжка сберегательная и осталась и теперь у меня хранится.

Начал батюшка ездить по городам и работать что придется. Был он ловкой, сразу все схватывал, и художеств всяких объявилась в нем масса. Работал он и краснодеревщиком, и плотником, и каменщиком, и даже в иконописной мастерской. Но только то, чему с детства научился, видно, пересилило все остальное: приехал батюшка домой, женился на матушке моей и стал сапожничать.

Село наше дюже красиво было в те стародавние годы. Стояло над речкой, аккуратно возле тракта Дорогобужского, и таково его местоположение было, что все

окрестные деревни, когда надо из городу или в город ехать, все, бывало, через наше село стремились. В нем даже почтовая станция была, а это все только на руку нашему брату сапожнику.

Мастерская у батюшки в баньке была. Работал он много и хорошо, и любил я смотреть на его работу. Так у него все ладно выходило, что меня зависть брала и ужасно хотелось самому молотком постучать.

Как я вам говорил уже, был батюшка великим мастером своего дела. Раньше, до революции, сапожникам нашим не в пример работы больше было. Не могу вам точно сказать, были тогда обувные фабрики у нас или нет, но только по деревням покупной обуви не было, и кто мог, шил себе у сапожника. Обувь шили разную: и башмаки, и сапоги, и всякую легкую обувь — рантовую, гвоздевую и выворотную. В некоторых местах, где сапожников много было, существовала, конечно, большая конкуренция, и каждый от этого старался отличиться перед другим, каждый владел какими-нибудь секретами, и хранились эти секреты свято, из рода в род. Батюшка мой прошел хорошую выучку у деда, да и талант ему от деда перешел, легкая рука у него была и художество в работе. И как каждый настоящий мастер и художник, хотел батюшка делать обувь людям на удивление и радость.

И вот, помню, была у него мечта гордая сшить такие туфли, чтобы были они красоты необыкновенной, а также большой легкости и прочности. Хотел он их сшить матери, конечно, но только этому не суждено было сбыться. То материала подходящего не было, то колодок хороших не попадалось, то что-нибудь отвлекало... Так и не сшил, и померла моя матушка, не выдавши таковых дивных туфель! И в этом смысле поговорка «Сапожник ходит без сапог, портной — без жилетки» оказалась правильной.

Удивительный запах имеет сапожная мастерская! Я так думаю, что лучше этого запаха ни на одном производстве нет, даже у столяра нету такого запаха. Если вы не знаете сапожного дела, я сейчас объясню вам главный наш запах.

Подметки кожаные очень тверды, особенно если спиртовые. Шилом их колоть — без руки останешься, да и гвоздь не лезет, ломается. И вот, чтобы легче было

работать, кладут эти подметки мочить в таз с водой. Мокнут они в тазу сутки, и вода от них делается совсем коричневой, как крепкий чай. Потом подметки вынимаются и растягиваются немного молотком на утюге. После этого их и шилом легко проколоть и гвоздь в них лезет, как в масло.

И вот от них-то и есть главный сапожный запах, запах моченой кожи. Ну потом тут же и многие другие — воск, к примеру, очень тонко пахнет, вар тоже дает свой выразительный запах, клей для кожи — свой, резиновый клей тоже, а еще лак и, наконец, сухая береза.

Железными гвоздями подбивается только каблук, если набойка резиновая. А так употребляются гвозди только и исключительно березовые. Выбирается круглый аккуратный кусок березы, чтобы был без сучков, распиливается на плашки, и эти плашки сушатся на печке до настоящей их твердости. Потом раскалываются на четыре части, от каждой части откалывают сапожным ножом пластинки, заостряют их и колют уже на гвозди. Так вот береза, когда сохнет, пахнет лесом.

Батюшка мой был здоровым лицом и телом, только нога после ранения в Маньчжурии была, конечно, никуда. Работал он так, что любо-дорого было смотреть. В плечах широк, руки могучие, шея сильная и красивая. Шилом колет, так кажется, даже и не замечает, что колет, только мускулы под рубахой переливаются. Любил он свою работу до исступления, починку, правда, набойки там, подметки, заплатки делал без горения, спокойно и прохладно, зато уж когда дорывался до настоящей работы, тут уж он показывал высокий класс. Материал всегда ставил самый лучший, воровством брезговал и, когда шил что-нибудь хорошее, всегда песни пел. Это у него, надо думать, от деда осталось — талант к музыке. Я сам тоже легкий на ухо, музыку всякую люблю и запоминаю быстро. Даже ночью иногда во сне слышу, будто оркестр играет. Но не во мне дело.

Бывало, зимой темнеет рано, зажжет отец лампу, посвистывает, дратву продергивает или молотком постукивает. Я тут же примощусь, помогаю ему или книжку какую-нибудь читаю. Вот он свищет, свищет,

потом запоем. Удивительно он пел! Голос у него сиповатый был и слабый, но слух отличный, и пел он чисто и музыкально.

Работы у него много было, все его любили за честность и аккуратность и как чуть что — к нему шли. Бывало, целыми днями у нас народ, а многие и просто так заходили покурить, поговорить о жизни и разных разностях, все больше, конечно, о земле, о наделах, о волнениях и поджогах в имениях — тогда как раз первая русская революция была и мужики по деревням очень шевелились и шумели.

Летом чиновники чинили и заказывали легкую обувь, охотники заказывали сапоги себе. Зимой же больше валенки приходилось подшивать. А то еще зимой башмачки девки приносили. Принесут туфли чистенькие, как новые! А надо вам сказать, что обувь не только снизу носится, но и сверху тоже. А тут весь низ стерт — и подметки светятся, и набойки совсем стерлись, а верх свежий, так и блестит. Я сперва не понимал, в чем тут дело, но отец объяснил. «Чего тут не понять? — говорит. — Видишь, туфли хорошие, девки редко надевают. Верх хорош, а подметки нету, значит, на танцах протерли, на вечерках. Понятно?»

И всегда ставил на такую обувь самую крепкую спиртовую кожу, а когда отдавал заказчицам, обязательно приговаривал: «Теперь, мол, в них до свадьбы дотанцуешь, а на свадьбу новые сошьем!»

Дружно мы с ним жили, никогда он меня не то что ударить, словом грубым не назвал. Очень я на мать похож был, вот он и любил меня особенно. И не пил совсем. Капли в рот не брал и пьяных не любил. А уж как его соблазняли! Знаете, русский человек не любит деньгами платить за работу, а все норовит угостить, так сказать, натурой. Как чуть, — пойдем выпьем. Но отец крепко держался. Так что, видите, не всякая поговорка верна во всех случаях, что, мол, пьет как сапожник.

Все было хорошо, но только пришел нашей тихой жизни неожиданный конец. Если бы я тогда наперед знал, как все дело обернется, я бы его колодкой до по-

лусмерти избил бы и, может, в тюрьму бы попал, но горю отцовскому совершиться бы не дал.

А все дело вышло так. Однажды утром, в феврале это было, приходит к нам заказчик. Из себя очень неказистый, видно, чиновник, в очках, лицо тонкое и холодное, волос редкий, сам сутулый и зубы неважные — желтые и кривые, с золотыми коронками. Одет он был в темно-синее пальто с бобровым воротником, в шапке и с маленьким саквояжем. Уши у него посинели с холоду, и нос тоже посинел, все он носом у нас в тепле шмыгал.

Зашел он, поздоровался, шапку снял и первым делом стал очки протирать и волосы приглаживать. Пригладил и говорит:

— Я, — говорит, — слышал от одного знакомого управляющего о вас. Очень он мне вас хвалил, да я и сам видал у него сапоги, вами сделанные. И вот ввиду целого ряда обстоятельств пришел я к вам по важному делу. Скоро должен я взять за себя одну девицу. Она очень порядочная девица и хорошей фамилии. И вот я хочу сделать ей свадебный подарок, а именно туфли. Конечно, я мог бы купить ей туфли в Дорогобуже, в торговых рядах, но думаю, что на заказ лучше выйдет и ей более лестно будет дорогие туфли получить. Тем более, что она сирота, жизнь у нее бедная, можно сказать нищая, и, может быть, через этот подарок я ее осчастливлю. Человек же я обеспеченный, с положением и могу позволить себе некоторую роскошь.

Говорит он все это ровным голосом, на отца не глядит, а смотрит в окно и все носом пошмыгивает. И вижу я, страсть как не понравился он батюшке, что-то было в нем не человеческое будто, а машинное. Батюшка мой его, однако, не перебил, а дослушал до конца, закурил и говорит, что, мол, кое-какую он, правда, обувь делал, но что такие особенные туфли шить не берется, тем более для невесты. Да и материал хороший невозможно достать.

Тогда этот хлюст стал отца уговаривать очень горячо, очень разволновался, стал о цене говорить и прочие глупости, чего батюшка очень не любил. Вижу, батюшка нахмурился и вот-вот погонит его к чертям собачьим. И если бы выгнал он его тогда, все было бы хорошо. Но тип этот все не отставал, говорил и говорил, со-

всем оплел батюшку, наконец вытащил фото из бумажника и стал показывать. Батюшка посмотрел, я тоже потянулся поглядеть. И скажу вам по совести, такая красавица была эта его невеста, что вот уж мне седьмой десяток теперь идет, а все она перед глазами у меня стоит. Правда, тогда показалась она мне чуть староватой. Но ведь это всегда в таком возрасте: чуть старше тебя человек года на два, на три — и вроде он уже совсем взрослый.

Ну ладно, поглядел я на эту девушку, что на фото, и очень она мне понравилась. Глаза у нее темные были, в разрезе длинные, лицо гордое и прекрасное, и голову высоко держала, как королева какая. Только грустная отчего-то она была.

Батюшке она тоже, видно, понравилась; поглядел он на нее пристально, фото вернул, однако сразу не сдался. Стал говорить, что, мол, неизвестно ему, какой у нее размер и форма ноги, высота подъема и все такое прочее. Я теперь думаю, что это он говорил, чтобы задать тону. Мастера, они любят иной раз на себя строгость напустить. Вон я, не такой уж и мастер, а и то, бывает, ко всякой ерунде придираюсь. Но только, наверно, гонора этого у батюшки было самую малость, а больше потому он капризничал, что и в самом деле не хотел шить вслепую, зная только размер.

Однако заказчик наш быстро на все согласился, расспросил отца, как нужно замерять ногу, записал все в блокнот и с тем отбыл.

Через неделю чиновник этот прислал своего слугу со всеми нужными замерениями. Договорились о цене, батюшка назначил срок и взялся за работу. Странно как-то вдруг он загорелся. Ел мало, песен не пел и не свистел, целыми днями молчал и все думал о чем-то.

Слазил он в сундук и достал оттуда розовое шевро. Шевро это было необыкновенной нежности и цветом напоминало утреннюю зарю. Достал он его где-то в Китае, кусок ровно на одну пару. Потом запрятал в сундук на самое дно и как бы до времени забыл о нем. И вот настала пора, расширилась его душа, взял он эту дивную кожу для туфель неизвестной девушки-невесты.

Потом отправился он к одному старику сапожнику просить колодки. У того были привезены с Петербурга

точные французские колодки, на которых шилась обувь придворным дамам. Принес батюшка эти колодки домой в тряпочке. Все было в них прекрасно: пятка изящная, выем, подъем, носочки. После этого стал батюшка кроить шевро и выбирать поднаряд. По десять раз на день руки мыл и все фасон придумывал.

Вы знаете, как обувь шьется? Сейчас я вам это популярно объясню. Возьмем, к примеру, сапог. Берем, во-первых, заготовку, то есть переда, стачанные с голенищами. А в заготовке уж и поднаряд пристрочен, и задники вставлены, и все такое. Потом начинается натяжка заготовки на колодку, на которой заранее прибита стелька. Заготовка натягивается и прибивается или, как мы говорим, привязывается к стельке тонкими железными гвоздиками.

Потом края заготовки стягиваются дратвой, гвозди вынимаются, берется рант, укладывается кругом по стопе и стачивается опять же со стелькой. После этого в углубление, которое получается в середине от ранта, кладется простилка и сверху пришивается подошва, а к ней уже и каблук.

Это если обувь шьется. А если на гвоздях, то подошва прибивается кругом деревянными гвоздями в два ряда, а в «еленке» — выемке перед каблуком — в три ряда. Главное качество сапога в том, чтобы он не промокал. Батюшка мой хорошо мог делать такие сапоги: простилку он пропитывал битумом, или, иначе, варом, шило брал тоненькое, чтобы дырочка оставалась маленькая и дратва шла со скрипом.

Ну вот, это сапоги, а вся прочая обувь шьется, в общем, так же, только, если обувь легкая, или модельная, как теперь говорят, то там материал другой и работа другая, не гусиным шагом и не на овсяное зерно, как выражаются сапожники, а мелкая и точная.

Работал батюшка эти туфли, как ювелир. Дратву он выбрал тонкую и крепкую, покрасил ее вохрой в желтый цвет и навоцил. Это чтобы рант получился желтый на розовом фоне. В общем, много разных художеств он использовал, много переволновался, и через десять дней туфли наконец были готовы.

Трудно мне вам их описать, да и не поймете вы ничего из моих слов и всей необыкновенной красоты этих туфель все равно не представите. Чтобы почувствовать



всю их красоту, надо было на них смотреть. Я теперь думаю, что такую вещь, конечно, нельзя было пускать в носку. Это была редкая музейная работа и, может, такой же красоты, как черевички у Гоголя.

Стояли эти туфли в шкафу, и батюшка все, бывало, открывал шкаф, любовался на них и мне показывал. Больше никому он их не показывал: знал, что будут просить сшить такие же, а уж и материал вышел, и настроения больше такого не было.

Бывало, все говорил мне:

— Ну вот, Митька, к этим туфлям я всю жизнь шел в своем ремесле. Сбылась моя мечта! Жалко, правда, не мать их будет носить, но пусть они достанутся этой сиротливой невесте. А мастер пусть останется безымянный, потому что чувствую я, лучше этих туфель не сшить мне больше ничего и никогда.

Только что-то долго не появлялся наш заказчик. Батюшка даже радовался сначала, что тот долго не едет, чтобы, значит, самому вдоволь налюбоваться своей работой. Ну, а потом беспокоиться стал, даже приуныл. Ведь, как я понимаю, ни один художник не может для себя лично свой талант использовать, обязательно он работает для кого-то другого, потому он и художник: для людей, а не для себя.

Как вдруг приезжает этот самый хлюст и вроде в этот раз еще худее и еще больше унылый. Садится, сморкается, долго сморкается, долго смотрит в окно, вздыхает таково тяжко, потом спрашивает, готов ли заказ.

Батюшка, ни слова не говоря, встает, умывает и вытирает насухо руки, подмигивает мне, краснеет. Потом лезет в шкаф, достает туфли, в полотенце завернутые, и прямо так, не разворачивая, отдает заказчику.

Разворачивает тот туфли с унылым видом, а отец смотрит на него во все глаза, и лицо у него прямо как у ребенка: то вспыхнет, то нахмурится, то глаза быстро отведет, моргает, закуривает, а руки дрожат. Ждет, значит, как оценит заказчик его работу. И похвали его тогда заказчик, засмейся от радости перед таким искусством, я думаю, отец бы с него и денег не взял!

Развернул тот туфли, рассмотрел во всех подробностях, даже понюхал и так это прищурился, вроде не понравилось ему. Отец не вытерпел.

— Ну, как? — спрашивает, а сам папиросу на пол бросил и каблуком топчет. Чистюля он был, грязи на полу, семечек там или окурков терпеть не мог, а тут и про чистоту забыл.

— Да ничего... — Это чиновник-то отвечает. — Только вроде неодинаковые носки, один вроде пошире, другой — поуже. Да и так как-то они... странные какие-то. Ни на что не похоже. Я ожидал другого.

Потемнел мой батюшка лицом, глаза какие-то бессмысленные стали. А тот продолжает и при этом в окно смотрит и вздыхает:

— Да и не к чему мне они теперь. Невеста-то моя, о которой я вам, помните, говорил, раздумала чего-то... Впрочем, вернее, я раздумал. А мне вот теперь эти туфли брать приходится. Я хотел, правду сказать, своей тетушке их подарить, а теперь вижу, что как-то они не подходят старушке. Но я, конечно, честный и благородный человек.

Вынимает бумажник и начинает с постным лицом деньгами шелестеть. Батюшка повернулся на чурбаке, банку с гвоздями свалил, глянул на меня белыми глазами и говорит тому:

— Сто рублей!

Это он со зла, значит, да и думал, что тот отступится, не пойдет на эту цену: договаривались-то они дешевле.

Чиновник зафырчал.

— Вы, — говорит, — меня оскорбляете, пользуетесь моей честью дворянина, сбегиваете мне свои дикие туфли. Но моя принципиальность не позволит... — и что-то там еще плел в том же духе. Потом отсчитывает сто рублей, все десятками, кладет на верстак, бросает полотенце на пол, сует туфли в саквояж, встает и уходит. И, стерва, нарочно на полотенце наступил, а вдобавок так дверью хлопнул, что стекла звякнули.

Остались мы с батюшкой. Сидел он, сидел, вдруг зубами закрипел, схватил деньги, шваркнул об стенку. Потом схватил молоток и молотком в стену — да так, что ручка переломилась. Потом вдруг как вскочит, про палку забыл — а он с палкой ходил, — кинулся к дверям и упал.

— Митька! — кричит. — Догони его, верни его, что же это, Митька! Что ж я наделал, догони его!

Я махом выскочил на волю, туда-сюда — нет никого, как дух нечистый сгинул. Бегал я, бегал, у всех встречных спрашивал — никто не видал его. Пришел домой.

— Нету,— говорю,— его, пропал.

А батюшка совсем как бешеный, мне даже страшно стало.

— Подлец я,— кричит,— сто рублей взял! Сто рублей за мечту взял! Митька! Беги на почтовую станцию, должен он в Дорогобуж ехать! Не найдешь, не знаю, что со мной будет!

Надел я пальтишко, шапку, кинулся на почтовую станцию. Всю дорогу бежал, прибежал на станцию, спрашиваю у всех, у смотрителя, у ямщиков — никто не видал! Стал я ждать и ждал до самого вечера. Смерклось, смерз я весь, заколенел, пошел домой и заплакал: очень батюшку жалел.

Пришел, батюшки в баньке нету. Иду в дом, а он, как был в одеже и в сапогах, лежит на кровати, прямо на покрывале, вся комната в дыму, окурков на полу набросано, и темно, свету нет.

— Не нашел? — спрашивает.

— Нет,— отвечаю, а сам дрожу весь, боюсь.

Зажег я лампу, сел батюшка на постели, лицо щупает.

— Митька! Прости ты меня! — говорит.

Ну тут не выдержал я, заревел. Батюшка поглядел на меня, помолчал, вынул из-под подушки десятку, дает мне.

— Беги,— говорит,— за водкой...

Побежал я, принес... Батюшка встал, налил стакан, выпил. Потом еще выпил и в десять минут прикончил бутылку без закуски. Посидел немного, лезет опять под подушку, дает мне еще денег: беги! Я опять побежал в лавку, взял еще бутылку. Выпил батюшка и ее, повалился прямо в одеже на кровать и уснул. Ну, смотрю, наутро работать не идет, сидит опухший, всклокоченный, на меня не глядит. Ушел я куда-то по делу, днем прихожу, а он снова пьяный, ходит по огороду, петляет, лазит чего-то по снегу...

И так пошло с того самого дня. Запил отец окончательно, откуда что взялось! Пропил все деньги, что за туфли взял, стал пить на те, кои прикоплены у нас бы-

ли. Ходил я его искать по разным домам, по мерзким бабам, по кабакам, сколько муки вытерпел с ним. Чего я только не пробовал! Ругал его, просил, плакал — ничего не помогало. Сам все понимал и страдал, но пить не бросал. Главное, перед матерью ему было обидно. Напьется и плачет.

— Марьюшка! — кричит. — Прости ты меня, подлеца, тебе мечтал туфли сшить розовые, как утренняя зорька! Недолюбил я тебя при жизни и после смерти тебе изменил: продал свою мечту за сто рублей!

Чем дальше, тем было все хуже. Водка уж такой яд: затянет, не вырвешься. В каких-нибудь три месяца опустился отец страшно, на себя похож не стал. Честный был всю жизнь, а тут стал обувь заказчиков в кабаке закладывать и пропивать. Воевал, крест георгиевский имел, горд был своим геройством, а летом, когда денег совсем не стало и нечего уж было из дома продать, нищенствовать стал, ранами своими похвастаться. На ярмарки ходить стал, лазаря петь со слепцами, ногу свою изуродованную обнажать.

Видел я его раз в Дорогобуже издали, в пыли сидел, ногами сучил, жалобно таково выводил: «Дай вам господи здоровья, люди добрые, помощи вам бог, призрели вы калеку сирую!» — так чувствительно выговаривал, тянул, со слезой, а сам в бога не верил никогда, а в последнее время так совсем ругался в бога страшными словами.

Ужасная жизнь настала для меня! Бился я, сам брал заказы, старался, а чуть денег заработаю, стащит ведь отец! Ко мне он переменялся, ругал нехорошо, колотил, раз даже с топором за мной по усадьбе гонялся.

Я уж сбежать хотел куда глаза глядят, как в один час все кончилось. Уж не знаю, как вышло, но только возвращался батюшка домой с Дорогобужа пьяный, петлял, петлял, а метель ночью поднялась, сбился совсем с дороги и замерз.

Вызвали меня в больницу, пришел я, провели меня в покойницкую... Лежит батюшка мой на столе, серым чем-то покрыт низ, а верх — грудь и голова — открыты. Очень он мне показался большим и плоским. И лицо у него хорошее было. Щетиной, правда, заросло, а так очень умное было выражение и печальное, будто жалел он о чем-то или просил меня чего-то сделать. Эх!..

Тяжело мне вам все это рассказывать, да и рассказ-то, считайте, окончен. Стал я после батюшки окончательно на собственные ноги, потом, после революции, в Москву приехал, сперва в артели сапожницкой работал, потом на фабрику поступил.

Теперь уж старик я, модельером работаю на фабрике обувной, и совершенно теперь другая судьба моей работы. Теперь обувь, которую я придумаю, идет в широкое производство, и не только у нас, но и за границей. Туфли мои выставлялись на международных выставках в Брюсселе и в Нью-Йорке, и, говорят, очень иностранцы изумлялись русскому таланту.

Но жалко мне до сих пор батюшку, ему бы да мои возможности! Это был бы гений по своей фантазии, и носили бы его туфли все прекрасные наши женщины!



## ТЕДДИ

*(История одного медведя)*

### 1

Большого бурого медведя звали Тедди. У других зверей тоже были имена, но Тедди никак не мог запомнить их и постоянно путал и только свою кличку знал твердо, всегда откликался и шел, если его звали, и делал то, что ему говорили.

Жизнь его была однообразной. Работал он в цирке, работал так давно, что и счет потерял дням. Его, по привычке, держали в клетке, хоть он давно уже смирился и в клетке не было необходимости. Он стал равнодушен ко всему, ничем не интересовался и хотел

только, чтобы его оставили в покое. Но он был старым, опытным артистом, и в покое его не оставляли.

Вечером его выпускали на ярко освещенный манеж, посредине которого не торопясь рассказывал высокий человек с напудренным лицом. На человеке были белые панталоны, мягкие черные сапоги и лиловая куртка с нашитой спереди золотой тесьмой. И панталоны, и куртка, и бледное равнодушное лицо человека всегда производили на Тедди сильное впечатление. Но больше всего медведь боялся его глаз.

Когда-то, в дни своей молодости, Тедди несколько раз поднимал страшный звериный бунт. Он тоскливо ревел, рвал прутья клетки, и никакими самыми жестокими мерами нельзя было его успокоить. Но приходил человек с бледным лицом, становился возле клетки, смотрел на Тедди, и каждый раз под его взглядом медведь покорно стихал и через час уже позволял выводить себя на репетицию.

Теперь Тедди уже не бунтовал и послушно проделывал всевозможные неловкие и ненужные, часто даже неприятные штуки. И человек в белых панталонах уже не грозил ему взглядом, а когда говорил о медведе, то называл его не иначе, как «старый добрый Тедди», и в голосе его была ласка.

В кожаном наморднике выходил Тедди на манеж, кланялся зрителям, которые встречали его радостным шумом.

Ему подавали велосипед, он задирал через седло лапу, отталкивался и, сильно нажимая на педали и крепко вцепившись в руль, ездил кругами по манежу. Громко играла музыка, а зрители смеялись и хлопали в ладоши.

Он умел делать еще несколько забавных штук: быстро перебирая лапами, катался на больших шарах, подымался и балансировал на тонкой металлической планке, дрался в надетых на передние лапы перчатках с другим медведем. Тедди не понимал, почему так веселятся все эти люди, когда он проделывает свои неудобные штуки.

По ночам медведь часто не спал. В коридоре тускло горела маленькая лампочка, громко храпел старик сторож, от которого всегда вкусно пахло. Звери рычали и повизгивали во сне. От клеток шел тяжелый звериный

запах. В углах было темно. По полу бегали большие наглые крысы, вставали на задние лапы, и от них тянулись тогда длинные тени.

Подумав и поворчав некоторое время, Тедди начал заниматься своим туалетом. Он долго и равномерно вылизывал лапы и живот, а когда лапы и живот становились совершенно мокрыми и липкими, принимался за бока и спину. Но спину лизать было неловко, он скоро уставал и предавался тогда печальным размышлениям.

Вспоминал он детство свое и мать — красивую медведицу с мягкими лапами и длинным горячим языком. Но детства Тедди почти не помнил, помнил только небольшой ручей с желтыми песчаными берегами; песок был мелкий и горячий. Помнил еще кисло-сладкий запах муравьев, которых ему с тех пор не доводилось попробовать.

Думал он и еще о многом, какие-то образы посещали его, злость и горечь наполняли грудь, хотелось реветь, куда-то пойти и делать что-то свое, звериное, и громко вздыхал он всю ночь, а на другой день бывал особенно вялым и хмурым и неохотно выходил на репетицию.

## 2

Однажды цирк поехал куда-то далеко по железной дороге. Поехал и Тедди. Он ездил так много на своем веку, что уже ничему не удивлялся и не любил только запаха бензина, которым пахли автомашины.

Все происходило так же, как и всегда. На станции клетки со зверями закатывали в вагоны, люди кричали, ругались, что-то приколачивали. Наконец двери хлопнули, и скоро все равномерно задрожало и закачалось, и сильно захотелось спать. Дрожало и качалось два дня, потом стихло. Когда двери открыли и стали выгружать клетки из вагонов и грузить на автомашины, все кругом было другое и пахло иначе, но Тедди не удивился этому.

Решено было накормить зверей, прежде чем везти их дальше. Пришел служитель, вычистил клетки, потом принес еду. Сунув в клетку Тедди немного вареной



картошки, хлеба и тазик с овсянкой, служитель отвлекся чем-то и ушел, позабыв запереть клетку.

Медведь, не обращая внимания на открытую дверцу, жадно ел картошку и овсянку и даже слегка похрюкивал — так проголодался. Съев обед и облизываясь, он, по привычке, стал подталкивать посуду к дверце и тут только заметил, что та не закрыта. Он сильно удивился, высунул голову наружу, посмотрел туда-сюда, зевнул, подался назад и улегся, закрыв глазки. Но через минуту он встал и опять высунулся. Понюхал воздух, поглядел, будто что-то припоминая, подумал, еще высунулся и спрыгнул с машины на землю. На земле он с наслаждением потянулся и стал с любопытством обходить машину.

К машине в это время подходил шофер. Он держал кепку под мышкой и что-то жевал. Ветер дул от него, Тедди почуял запах колбасы и пошел навстречу. Увидев медведя, шофер перестал жевать и замер. Тедди поднялся на задние лапы и ласково заворчал. Тогда шофер быстро повернулся, уронил кепку и бросился со всех ног к низкому длинному дому с какой-то вывеской над дверью.

— Помогите! — в ужасе закричал он.

Тедди опустилсЯ и на всякий случай подался в сторону. Он даже повернул назад, чтобы залезть обратно в привычную клетку, но тут из дома высыпали люди и закричали на медведя дикими голосами. Тедди обернулся в испуге, ища среди всех этих людей знакомое лицо, но знакомых не было. Тедди стало страшно, и он побежал.

Он промчался мимо коновязи. Лошади, увидев его, шарахнулись, заржали. Тедди тоже рывкнул и надал ходу.

Он пробежал огородом, перемахнул через плетень и помчался полем к далекому лесу. Бежал он быстро, прижав уши, фыркая, испытывая острое незнакомое удовольствие. Добежав до первых кустов и запыхавшись, он остановился и с испугом посмотрел назад: станции не было видно, не было ни людей, ни машин, только голое поле и темнеющие вдаль крыши.

Медведь затосковал, ему захотелось попасть опять в цирк, жить в темном коридоре, слушать по ночам храп вкусно пахнувшего сторожа. Назад идти он боял-

ся и тихонько ворчал, приподнимаясь на задние лапы и раскачиваясь.

Потом он обернулся, посмотрел на лес, несколько раз фыркнул, чтобы прочистить нос, и понюхал. Пахло сладко смолой, грибами, и еще было много будоражащих запахов. Тедди пошел к лесу. Он медленно шел кустами и каждый раз, выйдя на чистое место, оглядывался в надежде увидеть служителя или человека в белых панталонах, которые ласково сказали бы ему: «Тедди!» Но никто не показывался, никто не звал его, было тихо, а из леса все более явственнее доносился могучий зов. И Тедди со смешанным чувством страха и любопытства вошел в лес.

### 3

Тедди не повезло. Он попал в часть леса, обжитую людьми. Здесь расположен был леспромхоз, большие площади были вырублены, то и дело бросались в глаза непонятные в лесу предметы: линия узкоколейки, обрывки тросов, масляные тряпки, изъезженные дороги, гулкие бревенчатые гати. Птиц и зверей почти не было в этом месте, а по ночам были слышны металлические удары, шум моторов, тонкие паровозные гудки.

Тедди было дико и непривычно в лесу, и он поначалу только и думал, как бы встретиться с людьми. Но в то же время что-то мешало ему идти навстречу звукам машин. Все его раздражало, он не ел, почти не спал и сильно отощал. Несколько раз он принимался выделывать свои на всю жизнь заученные фокусы в надежде, что кто-нибудь выйдет к нему и накормит.

Он делал стойку на передних лапах, дрыгал задними в воздухе, будто перекачивал в них шар, и так обходил поляну. Потом он кувыркался через голову, плясал, «умирал» и, оживая, очень довольный собой, оглядывался по сторонам, ожидая подачки. Но никто не радовался, не хвалил его, не появлялся волшебный суп-овсянка, и в маленьких глазках медведя появлялось тоскливое изумление.

Несколько раз он выходил к реке, глядел на плывущие по воде бревна, тосковал и снова уходил в лес.

Так прошло два дня и две ночи. На третью ночь Тедди вышел опять к реке и остановился пораженный: к берегу был причален большой плот с избушкой на середине. Светила яркая луна, на берегу стояли белые бараки с черными окнами, вокруг не было ни души и ни звука не было слышно, только между бревнами плота сонно журчала вода. Тедди привстал на задние лапы и повел носом. С плота от избушки невыносимо вкусно пахло ржаным хлебом и картошкой. Тедди облизнулся и закачался на задних лапах. Качаясь, он напряженно размышлял.

Идти туда, откуда пахло, он боялся, так как знал, что там люди. Но соблазн был так велик, что медведь, походив по берегу и попробовав лапой воду, остановился как раз напротив избушки. Ах как замечательно пахло!

Плот был подогнан к берегу не вплотную, на берег были переброшены в одном месте сходни, но Тедди в нетерпении не обратил на них внимания, сунулся в воду и через мгновение уже взбирался на плот. Неуверенно ступая по бревнам, медведь подошел к избушке и обошел ее кругом. Изнутри доносился громкий храп. Тедди вспомнил циркового сторожа и приободрился. Он заглянул через окно внутрь, но ничего не увидел. Тогда он решительно отворил дверь и, протиснувшись в избушку, сразу сглотнул сладкую слюну — так вкусно пахло здесь портянками, хлебом и картошкой. Хлеб и картошка были на столе. Тедди подошел к столу, свалил с чугунка теплую запотевшую тарелку, опрокинул чугунок и зарычал, сейчас же начиная, торопясь и давясь, глотать хлеб.

— Эй! — окликнул вдруг его человек с нар, перестав храпеть. — Кто это? Ты, Федя?

Медведь присел от испуга, но потом разъярился, рывкнул и ударил лапой по столу. Чугунок и тарелка упали на пол. Тотчас что-то никак не похожее на человека свалилось с нар, на карачках юркнуло в дверь и побежало по плоту к берегу.

Через минуту, когда медведь доедал уже последний хлеб, на берегу послышался сильный шум. Нужно было уходить, но он еще не наелся, еще схватил с полу

несколько картошек и потом не сразу попал в дверь. Когда же он вытиснулся из двери, то увидел близко много людей. Заметив медведя, люди разом закричали, как тогда на станции, а Тедди растерянно остановился: путь к берегу был ему отрезан.

Он сунулся было наискосок, надеясь проскочить краем плота, но наперерез ему блеснул длинный огонь и бахнул выстрел. Медведь испугался и завернул назад, вокруг избушки. Люди бежали за ним, окружая его полукольцом и прижимая к краю плота. Опять бахнуло сзади, ширкнуло по бревнам и отскочившей корой стегнуло медведя по животу. Он рывкнул, прыгнул вперед и плюхнулся в воду, подняв столб серебристых в лунном свете брызг. Он никогда в жизни не плавал, окунулся с головой и, вынырнув, не знал сперва, что делать, но лапы его сами собой задвигались, он зашлепал ими что есть силы, вытягивая нос кверху, к звездам. Вода мягко сносила его на низ, люди остались на плоту и долго еще кричали, а медведь все сильнее двигал лапами, чихал, пыхтел и поднимал нос кверху.

Проплыв около получаса по теплой серебристой воде, он увидел вблизи лес — сплошной и черный. Это был уже не тот лес, из которого медведь недавно вышел. Это был лес без просек и вырубок и без человеческого жилья.

Почувяв дно под собою, Тедди тяжело выбрался на берег и остановился. Вода текла с его шубы ручьями. Оглянувшись, он увидел далеко наверху слабые огоньки и что-то еле белеющее в темноте и понял, что там остались люди, и бараки, и плот, и еще понял, что на том берегу было опасно и шумно, а здесь тихо и хорошо. Вспомнив выстрелы и оставшуюся в избушке на полу картошку, он поворчал немного, потом встряхнулся несколько раз и полез вверх по крутому обрыву навстречу огромным неподвижным соснам и елям.

Это был громадный лес, тянувшийся на десятки верст вверх и вниз по реке. Мало того: он уходил на восток до Уральского хребта и на север — до самой

тундры. Лес взбирался на холмы, расступался иногда озерами или полями, на которых виднелись редкие деревни с двухэтажными избами.

Это была глухая сторона, мало посещаемая людьми, и здесь-то и было настоящее раздолье для всякого зверя и птицы.

Много тут было волков и лисиц, белок и зайцев, водились тут лоси и рыси с загадочным взглядом желтых глаз. Здесь попадались совершенно глухие места, где и пройти-то было невозможно, где валившиеся деревья так и оставались лежать годами, догнивая и оседая постепенно к земле.

Случались здесь пожары, возникавшие от неизвестных причин, как бы сами собой. Огонь бушевал тогда на огромных пространствах, пожирая лес и траву, и тысячами гибли в нем звери. Огонь проходил косяками и затихал постепенно, тоже как бы сам собой, оставляя после себя черные уголья и пепел и редкие обгорелые стволы.

Скоро на гари начинала расти буйная красная жесткая трава, потом появлялись черника и брусника на кочках и молодые березки и сосенки. По краям показывались заросли шиповника и малины, и гарь уже не казалась диким и страшным для зверя местом, а становилась неисчерпаемой кладовой, в которой кормились сумрачные глухари, робкие рябчики, тетерева и зайцы. Лоси тоже приходили сюда и оставляли глубокие ямки следов в мягком беловатом мху.

Редко-редко раздавался в лесах этих выстрел, а когда раздавался, то долго и звонко раскатывался по холмам, вылетал на реку, отдавался от другого берега и возвращался уже ослабевшим и протяжным. Белки роняли тогда шишки и взлетали на верхушку дерева, чтобы оглянуться с безмерным любопытством; зайцы на лежках вставали столбиками; лоси, наставив уши, минуту слушали и беззвучно передвигались на другое место; рыси, дремлющие в чащобах, приоткрывали дремучие желтые глаза и нервно потряхивали кисточками на ушах; и только волки, лучше всех знакомые с человеком, бросали все, серыми тенями взбегали на ближний бугор и долго нюхали, стараясь и боясь одновременно поймать с ветерком запах человека.

Всю ночь шел Тедди на север, держась берега реки, как моряк держится компаса. Углубляться в лес он боялся: лес был полон неизвестности, тогда как река была знакома, она уже выручила его раз, и он ей доверял. Со всех сторон подступали к нему звуки и запахи, в которых он должен был разобраться. Некоторые из них были ему хорошо знакомы. Два раза его путь пересекал след рыси, и он сразу вспомнил рысь из цирка, хоть та пахла резче: звери в неволе всегда пахнут сильнее. Потом он вспугнул рябчиков, которые ночевали на низком суку большой елки, и сам сначала испугался, но быстро успокоился, поняв, что это всего-навсего птицы. Следы лисицы он тоже сразу узнал.

Но в конце концов обилие новых впечатлений так утомило медведя, что он выбрал сухое место в небольшом ложке, защищенном со всех сторон порослью елочек, лег и задремал до утра.

Странно, но этот большой зверь был совершенно беспомощным теперь в лесу. За долгие годы он отвык от леса и все позабыл из того немногого, что успел узнать в детстве. Все инстинкты, которыми его наделила природа, уснули, и он терялся от самых незначительных причин, требующих какого-нибудь действия. Ему все время хотелось есть. Но служителя, который ежедневно кормил его в цирке, здесь не было, приходилось самому искать еду, а он не знал, как это делается, не знал, что можно есть.

Пожалуй, никто так не чувствует и не понимает, как дикие звери, что значит мать. Мать учит детеныша прятаться, драться, убегать, она объясняет ему, кто враг и кто друг. Она знает, где есть черника и муравьи, земляника, вкусные сочные коренья, мышинные норы, рыбы и лягушки. Она знает, где есть свежая вода, глухие места и солнечные поляны с мягкой высокой травой. Ей ведомы тайны запахов и перекочевков. И еще она знает, что ни один зверь в лесу не доживает до глубокой старости, каждого постигает страшная беда, и нужно быть очень ловким, смелым и осторожным, чтобы как можно дольше сохранить себя и оставить после себя потомство.

Если бы рос Тедди не в зоопарке, а потом в цирке,

среди людей, если бы учителем жизни была для него медведица, свирепая ко всему, но бесконечно добрая к нему, маленькому медвежонку, он сейчас был бы могучим зверем и знал все, что нужно и возможно знать дикому зверю. Но Тедди учился жизни у человека в белых панталонах, и звериный дух его был подавлен еще с детства. Он успел узнать много вещей, которые недоступны и страшны жителю леса. В городе он был несомненно опытнее, умнее любого своего сородича, но что стоили все его знания в мире, куда он теперь попал! В лесу он превратился опять в беспомощного, жалкого детеныша, ничего не знающего, боящегося всего на свете. Вся разница была в том только, что он был теперь не крошечным медвежонком, а крупным медведем с желтыми клыками и вытертым клеткой задом и что не было теперь с ним доброй и умной матери, которая могла бы его защитить и многому научить.

7

Тедди разбудили птицы. Маленькие, они едва слышно перепархивали в мокрых от росы ветвях. Далеко на востоке за холмами вставало солнце. Между соснами висел прозрачный туман, сверкала роса, воздух был свеж и чист, и Тедди, выйдя из своего ночного пристанища, заковылял дальше на север. У него от непривычки к лесным скитаниям уже второй день побаливали лапы, но он упрямо шел вперед, так как что-то еще не нравилось ему тут. Он не думал ни о чем, стремясь на север, как не думают птицы, сбиваясь в стаи перед отлетом. Инстинкт, коренившийся в нем, вел его в небывалую страну, где должно быть много солнца, много пищи, чистой воды и тишины.

В полдень медведь переходил солнечную поляну, когда ноздрей его коснулся необыкновенный запах, всколыхнувший в душе его целый рой воспоминаний. Но где же источник этого милого сладкого запаха? Тедди повернул на восток, прошел немного — запах исчез! Он вернулся обеспокоенный, взволнованный назад — опять маняще запахло! Тогда Тедди стал кружить, и ему понадобилось порядочное время, чтобы отыскать муравейник. Запах, который он поймал, был запахом

муравьев, и он сразу его узнал, хоть не слышал столько лет.

Тедди сунул нос в муравейник и даже хрюкнул от наслаждения — так крепко был вблизи этот чудесный запах. Еще глубже зарылся он носом и зачавкал, прижмурившись, высовывая и убирая мокрый язык. Крупные рыжие муравьи мгновенно злым покровом облепили его морду, полезли в уши, но Тедди только мотал головой, поджимал хвост и еще усиленной чавкал. Наконец ему стало невмоготу, и он сел на задние лапы, чтобы перевести дух. В ту же минуту он вспомнил что-то давно забытое и стал разрывать муравейник лапой. Сейчас же муравьи облепили лапу, и ему оставалось только слизывать их. Это было несравненно удобнее — муравьи больше не лезли в нос и уши, в пасть не попадала земля и хвоя, и Тедди отошел только тогда, когда от муравейника не осталось ничего. Разорив муравейник, Тедди двинулся дальше, перевалил через широкий холм, поросший сухим еловым лесом с голыми вершинами, прошел оврагом, наткнулся на малинник и не вышел уже из него до самого вечера.

Поначалу Тедди пугали взлеты рябчиков и глухарей, плеск рыбы в маленьких озерах, шум леса, треск проходящих мимо лосей. Его пугали незнакомые странные запахи, резкие и чуть слышные. Но он без конца исследовал все звуки и запахи, чтобы, встретив их в другой раз, уже идти им навстречу, или уходить, или вообще не обращать внимания.

В его теперешней жизни было одно счастливое обстоятельство, о котором он сначала не догадывался: ему не нужно было никого бояться. Ему не страшны были ни волки, ни рыси, ни крошечные куницы — все те ужасные существа, от которых плохо приходится мелкому зверю и птице. Его никто не трогал, и не нужно было ему ни прятаться, ни убегать, чувствуя за собой легкий и страшный топот погони. Наоборот, его все боялись, так как здесь, в лесу он, сам того не подозревая, был самым крупным и опасным зверем.

Понял он это значительно позже, когда однажды наткнулся на труп павшего лосенка, который терзали два крупных волка. Увидев волков, медведь растерянно остановился. Волки заворчали злобно и бессильно и сейчас же отошли, уступив место медведю. И все время,



пока Тедди наслаждался лосенком, волки кружили рядом, но не осмеливались подойти. Радостное сознание своего могущества пробудилось тогда в нем, и, даже наевшись до отвала, он несколько раз возвращался и каждый раз с удовольствием видел, как при его появлении отскакивали от падали волки.

8

Останавливаясь в одних местах на день, в других — на два, Тедди все дальше продвигался на север. Сосны становились выше и толще; малины, земляники и брусники было больше, деревень — меньше. Безбрежная дикая красота, нетронутая глушь и тишина простирались вокруг, и, казалось бы, что еще нужно! Но от забытого почти детства у Тедди остались воспоминания настолько неясно прекрасные, что ему все было не так и не то — он стремился в какую-то свою страну, в какой-то свой, медвежий рай.

Найдя особенно хорошее, с его точки зрения, место, Тедди начинал свой обход. Он выдергивал старые, трухлявые пни, разорял мышиные и беличьи гнезда, переворачивал заросшие сухим белым мхом камни, искал слизняков и червей.

За две недели Тедди многому научился. Он стал спать всегда головой в ту сторону, откуда пришел; он узнал, что, помимо ягод и кореньев, очень вкусны грибы. Теперь Тедди не жевал без разбору все, что попадет, как в первые дни; он узнал, что самые сочные коренья растут в сырых местах; он стал пить только чистую проточную воду и научился пользоваться ветром; чутье его стало лучше, и Тедди уже мог ощущать очень тонкие или старые запахи; и он узнал еще на горьком опыте, что не все в лесу съедобно, что есть ягоды и грибы, которые лучше не трогать.

Он окреп, стал меньше уставать, и подошвы лап, так болевшие в первые дни, теперь загрубели, а когти, которые подрезали в цирке, отросли. Ходить он стал тихо, почти неслышно. Только увлекаясь, начинал ломать все, что попадалось на пути, и тогда треск шел по всему лесу.

Сперва Тедди спал ночью, как привык в цирке. Но

потом заметил, что ночью жизнь в лесу куда интересней, чем днем. Следы бродивших ночью куниц, зайцев, лисиц были свежее, что-то шевелилось в траве, возилось в кустах, кто-то перебегал по оврагам и полянам, странные крики рождались в тишине... Кроме того, ночью исчезали все мухи и слепни, которые так досаждали Тедди днем. И он все чаще стал бродить ночью, а днем спать в тайных местах.

9

Однажды Тедди набрел на небольшое овсяное поле в стороне от селений, в лесу, возле старой, заброшенной дороги. Тедди прошел краем поляны. Овсяные метелки слабо щекотали его, и это было приятно. Обойдя поле и не найдя ничего интересного для себя, он ушел, но спустя короткое время вернулся, вошел уже в самый овес, лег там, в этом мягком и светлом под луной островке, и стал хватать метелки пастью. Так он узнал вкус овса, который чем-то напоминал ему почти позабытый суп-овсянку. Сначала с жадностью он ел все подряд — и овес и стебли, — потом стал жевать и сосать только метелки и с рассветом ушел, вытоптав в овсе большую плешину.

Ему очень понравился овес, и через день он опять пришел и пировал всю ночь. Он бы пришел еще и на следующую ночь, но отвлекся, попав на небольшое болотце и распугав десятка три лягушек, которых и ловил очень долго, весь перемазался и целое утро потом отчищался.

Тедди не знал, что в это утро проезжали по старой дороге люди в телеге, долго осматривали поле, ругались и уехали, а к вечеру снова приехали с топорами и досками, некоторое время стараясь не стучать громко, мастерили что-то на старой и, видимо, очень удобной для них сосне. Потом люди отошли в сторону, покурили, роняя искры в траву, достали ружья из телеги, и двое полезли на сосну, а третий укатил обратно. Под телегой бренчало ведро, уехавший запел песню, и песня и бренчание ведра долго еще слышались оставшимся.

Луна успела взойти над лесом, когда проснулся Тедди. Он долго лежал в совершенной тишине, поворачи-

вая только голову и вкюхиваясь. Потом встал, зевнул, потянулся и, вспомнив об овсе, направился к полю своим неторопливым, раскачивающимся шагом. Иногда он останавливался, привлеченный каким-нибудь запахом, совал нос в траву, выдирая сладкий корешок и чавкал — есть тихо он не умел.

Он вышел уже почти к самому полю и мог даже разглядеть сквозь частый осинник белеющую полосу овса с темным пятном посередине — местом, где он пировал две ночи. Ему нужно было продвинуться каких-нибудь десять — пятнадцать шагов, как вдруг он остановился.

Нет, он ничего не услышал и не почувствовал, но точно какая-то тень мелькнула ему, слабый намек на что-то. Инстинкт предостерег его: что-то здесь изменилось за время, пока его не было.

Тедди повернул направо, обходя лесом поле и не теряя из виду слабо сиявшей полоски овса. Шерсть на хребте у него поднялась дыбом, но он не зарывал по своему обыкновению: что-то говорило ему, что лучше не рычать. Поле было пустынно и все кругом неподвижно. Едва слышный ветерок пришел откуда-то и почти не качнул травы, так он был слаб, но запах овса усилился, и нос Тедди стал сразу еще более мокрым и холодным.

Но Тедди не облизнулся, не раскрыл пасти, он молча проглотил слюну и вышел на светлую дорогу, которую пересекали резкие черные тени от деревьев. Улегшаяся было шерсть на загривке тотчас поднялась: в нос ему ударил слабый, но острый запах дегтя, лошади, табаку и людей. Он остановился и долго нюхал. Наконец он понял, что были люди, постояли здесь, покурили и уехали. Несколько смелее он прошел еще вдоль дороги, опять перешел ее и очутился теперь с другой стороны поля.

Он уже твердо знал, что люди, бывшие здесь вечером, уехали, но — странно! — чувство опасности не покидало его и шерсть на загривке не опускалась. Он хотел уйти совсем от места, которое внушало ему такой страх, ибо все неизвестное страшно, и повернул было в лес, но потом вернулся, сделав небольшой крюк.

У Тедди не было матери, и никто не мог его научить, что нужно немедленно уходить от непонятного.

Поэтому, вернувшись, он долго стоял в тени елок, и запах, вкусный, нежный запах овса, заглушая чувство страха, тянул его к себе, убаюкивал, лишал осторожности.

Медведь мало-помалу совсем вышел из тени и потянулся уже к метелкам, но в этот миг что-то щелкнуло звонко и шевельнулось где-то вверх и в стороне. Не успел Тедди ни отпрыгнуть, ни поднять голову, как сверкнула вспышка, грохнул с раскатом страшный в ночной тишине выстрел, что-то горячее ударило медведя по передней левой лапе, подшибло ее, и Тедди упал.

Еще когда щелкнуло, Тедди уже понял, что попался, что нужно бежать, и поэтому, как ни разъярен он был в этот миг, вскочив, бросился в спасительный сумрачный лес. Он бросился и побежал так быстро, как только мог, но, к удивлению своему, на втором прыжке снова упал, а вслед ему сверху, с корявой сосны, прогремели еще два выстрела, пронзительно прожужжало и хрястнуло совсем рядом и даже как бы впереди.

Но не выстрелы и хряск испугали его теперь, а то, что он не мог бежать и упал. Он опять вскочил и прыгнул прочь от овсяного поля, и опять что-то непонятное и страшное случилось с ним, и он сунулся мордой в землю. Тут только понял Тедди, что передней лапы его как бы не существует, она онемела, не двигалась, и на нее нельзя было становиться. Тогда он перенес тяжесть тела на другую лапу и побежал все быстрее, быстрее, с ужасным треском, не разбирая дороги, фыркая от ужаса, коляхаясь на ходу, оступаясь, припадая на грудь,— прочь отсюда!

Он долго бежал, и все ему казалось, что сзади трещит и нагоняет его, и он прибавлял ходу, выбиваясь из сил, и наконец, когда совсем отчаялся бежать, остановился, зарычал и обернулся, чтобы встретить врага. Он прорычал и присел, прижав уши, поджав теперь уже нестерпимо болевшую лапу. Глаза его горели, бока вздымались, вся шерсть на хребте и боках торчала от страха и ярости. За шумом своего дыхания он не слышал ничего и, чтобы послушать, перестал дышать. Ничего не услышав и не поверив тишине, подумав, что враг затаился, Тедди опять прорычал, повернулся и стал уходить, все время оглядываясь.

Но никто за ним не гнался, лес притих, испуганный

его ревом, и не было слышно ни звука. На ходу Тедди стал лизать лапу. Теплая кровь возбуждала его, боль немного утихла, и он все усердней лизал, находя в этом какое-то странное удовольствие.

И это спасло его. Дождавшись рассвета, охотники с ружьями наготове пошли по кровавому следу и разгадали все: как он мчался, ломая кусты, взрывая когтями землю и брызгая кровью на траву. Они догадались также, что он сидел, оборотясь к ним, — здесь было особенно много крови, трава примялась и слиплась. Но потом следы стали легче, кровь попадалась реже и скоро совсем пропала, и охотники, потеряв след и облавив все ближние овраги, вернулись к себе в деревню ни с чем.

10

А Тедди в это время лежал далеко в сухом острове мрачного леса и страдал. Лапа его распухла и болела, и целый день он не мог тронуться с места.

Пришла ночь, но боль в лапе не давала ему заснуть. Кроме того, какая-то новая тревога овладела им, но он ничего не мог поделать и только усиленно внюхивался, стараясь угадать причину этой тревоги. Лес внезапно притих, все затаилось, не слышать было ни малейшего звука, и эта мертвая тишина все сильнее угнетала и настораживала медведя.

По лесу пронеслось что-то тревожное и стало душно. Сначала редко, потом все чаще и чаще, опоясывая полгоризонта, запылали зарницы. Они вспыхивали беззвучно и таинственно и не видны были из густоты леса, только верхушки сосен освещались бледным, призрачным светом. Потом потихоньку, очень далеко, стал порывать гром. Тедди отвечал ему угрюмым ворчанием и беспокойно ворочался под своей елью. Оттого, что кругом стояла такая зловещая тишина и что издали все явственнее, почти непрерывно доносились громовые раскаты, ему все больше хотелось спрятаться куда-нибудь и притаиться. Но спрятаться было негде, и он только крепче прижимался к дереву.

Гроза чрезвычайно быстро надвинулась, звезды в просветах деревьев задернуло чернотой, тьму разрезали белые молнии, ударяя куда-то в соседние холмы, что-то

лопалось и грохотало резко и страшно! Тах! Агрррр-бах! — будто кашляло.

Упал с облаков верхний ветер, вершины сосен и елей ответили ему шипением, а внизу было тихо и ничто не шевелилось. Ветер промчался, и почти сразу же вслед за ним пошел дождь. Это не был обыкновенный дождь, который робко шуршит по листьям и который был знаком Тедди,— этот дождь обрушился на лес сразу, наполнил его гулом падающей воды, и, кроме этого гула, уже не было слышно ничего, только гром часто покрывал все торжествующим ревом.

К утру гроза прошла, и тогда весь лес, пронизанный солнцем, загорелся. Сверкающие капли падали с верхних веток на нижние, оттуда на траву, и все капли выпивала земля, а в лесу все утро стоял живой шорох.

Измученный болью, страхом перед грозой и людьми, не спавший, мокрый и несчастный, Тедди сидел под старой елью и не мог радоваться солнцу, не мог из-за боли даже подумать о том, чтобы пойти куда-то и поискать себе пищи. Так он лежал, беспомощный, одинокий, день и другую ночь и еще день, пока наконец рана не стала немного заживать и свирепый голод не выгнал его из укромного места.

Кое-как ковыляя на трех лапах, хмурый и осторожный, он бродил по холмам, и все кусты, сухие ветки, корни или просто высокая жесткая трава, цеплявшиеся за больную лапу, приводили его в ярость. Но прошло еще несколько дней — медведь начал уже осторожно ступать на нее, и постепенно мрачные мысли покинули его, он опять повеселел и приободрился.

Однажды он шел своей неторопливой иноходью близ берега реки. Была теплая ночь, и попадалось особенно много малины, но Тедди был раздражен. Перед этим он гонялся за одуревшим со сна тетеревом. Тетерев бестолково хлопал крыльями, совался под кусты, ударялся о деревья, падал, и Тедди несколько раз чуть не схватил его, но тетерев все-таки взлетел на березу, и Тедди не смог достать его. Теперь он был зол.

Спустившись в овраг, медведь напился из ручья, поднялся на другую сторону и вдруг почуял запах дыма и услышал человеческие голоса. Потихоньку он пошел на дым и скоро вышел к поляне, на которой ярко горел костер, стояли две палатки и паслись стреножен-

ные лошади. Это была научная экспедиция, но Тедди, конечно, не знал этого и в величайшем изумлении присел, чтобы получше все рассмотреть. Около костра сидели и двигались люди. Они громко разговаривали, смеялись, и от них на деревьях шевелились большие тени.

Тедди прошел краем поляны, потом подошел ближе к палаткам и вдруг неожиданно для себя пришел в ярость и зарычал. Тотчас испуганно захрапели лошади и сбились в кучу, а из-за палаток выскочила собака, большими прыжками помчалась к Тедди, но, не добрав шагов десяти, остановилась с разбегу и залаяла злобно и трусливо.

Тедди немного отошел и попытался подойти к палаткам с другой стороны, но опять ему навстречу кинулась собака. Люди у костра вскочили, двое нырнули в палатку и выбежали оттуда с ружьями. Как только Тедди заметил красноватые отблески на стволах ружей, он повернулся и бросился наутек. Собака бежала за ним не отставая, в восторге от победы и от погони. Промчавшись опушкой, Тедди завернул к болоту, потом разъярился и оборотился к собаке. Собака сейчас же замолчала и понеслась во весь дух к палаткам. Тедди хотел пойти и разорить лагерь, но вспомнил о ружьях, подался к реке и занялся поисками пищи.

Уже около двухсот километров прошел медведь к северу, нигде подолгу не задерживаясь. Теперь он не был беспомощным, как в первые дни. Запахи открылись ему, и все реже он удивлялся чему-нибудь.

Он узнал, что нужно во всех случаях доверять сойкам и сорокам. Он научился угадывать причину того или иного крика желны, а если замечал издали, что, сидя на верхушке дерева, ворона чистит клюв, а чуть пониже ее, опустив хвост, сидят неподвижные сороки и смотрят вниз, он немедленно направлялся туда, даже не справляясь с чутьем, так как знал, что там, где есть сытые вороны, всегда найдется чем поживиться. Он не особенно хорошо лазил по деревьям, но, если встречал удобную разлапистую сосну, никогда не пропускал случая взобраться и оглядеть внимательно окрестности с верхушки дерева.

Узнав за короткий срок столько, сколько не узнать ему было за всю жизнь в городе, став сильным и осто-

рожным, он превратился, как это могло показаться со стороны, в настоящего дикого зверя. Но это было не совсем так.

Раз утром, подойдя к ручью напиться, Тедди остался как громом пораженный: возле ручья пахло медведем! Это был старый запах, быть может дня два прошло с тех пор, как другой побывал здесь. Но этот слабый запах таил в себе такую угрозу, что Тедди, забыв о жажде, долго осматривался, и шерсть на хребте у него никак не могла опуститься. Выходило, что не он один царствовал в лесах, был другой, и теперь этого другого следовало опасаться. С этого дня для Тедди не стало покоя.

Все чаще начал он наткаться на разоренные муравейники, обсосанную и поломанную малину, на объеденные брусничные кочки. Когда же, издали поймав запах падали, Тедди приходил на место, то оказывалось, что другой уже побывал здесь и от падали оставил действительно только запах. Теперь в лесу всюду пахло чужим медведем, и запах этот приводил Тедди в бешенство. Злоба его, накапливаясь, стала такой острой и постоянной, что для него скоро сделалось ясно: двоим в этом краю не ужиться, одному нужно уйти. Если бы тут было плохо, Тедди не задумываясь ушел бы. Но здесь было так хорошо, так много пищи, что Тедди решил прогнать врага и стал искать встречи с ним. Иногда он встречал свежие следы, чаще наткался на старые, но увидеть самого медведя никак не удавалось.

Встреча их произошла неожиданно. Тедди выбирал утром место, где бы залечь на весь день, и переходил крошечную полянку меж сосен, поросшую сухим белым мхом, когда в нос ему ударил внезапно противный близкий медвежий запах. Подняв голову, Тедди посмотрел по направлению запаха и увидел наконец своего врага. Ах, как он покажет сейчас этому наглецу! Как он расправится с ним! Враг его скрылся на мгновение за соснами и вышел на поляну...

Это был такой зверь-громадина, что Тедди замер, как кролик. Только секунду назад, озлобленный, жаждущий схватки, он был диким зверем. Но что значила его дикость по сравнению с дикостью врага! Это был настоящий зверь, косматый, бородатый, с железными



когтями, горой мускулов и таким свирепым взглядом, что Тедди, тоже крупный зверь, оцепенел от ужаса.

Медведь стоял, низко опустив голову, и казался от этого горбатым. Он стоял молча и в упор смотрел на Тедди. И еще не было произнесено ни звука, не было сделано ни движения, а Тедди уже понял, что именно он должен покинуть навсегда этот прекрасный край. Разве мог он хотя бы помыслить о соперничестве с этой громадиной!

И то, что понял Тедди, в ту же секунду понял и медведь. Мало того — он понял также, что и Тедди это понял. Нет, он не бросился на Тедди, чтобы убить его, он только негромко зарычал. И рев его был на целую октаву ниже самого низкого рева Тедди. Человеку звериный рев всегда кажется одинаковым, его ухо не способно различить тончайшие оттенки в рычании. Тедди же сразу понял, чего хочет медведь. Его рев, негромкий, даже несколько презрительный, означал короткое: «Пошел вон!» Ослушаться этого приказа значило для Тедди упасть через минуту на белый сухой мох с переломленной шеей и разорванной грудью.

И Тедди не издал ни звука в ответ. Он повернулся и быстро пошел прочь. Уже почти скрывшись в лесу, он последний раз оглянулся. Медведь стоял все так же неподвижно и казался горбатым стогом на фоне частых сосновых стволов.

Тедди ушел навсегда из этого обильного края рыжих муравьев и красной брусники, ушел, чтобы не встречаться на дороге бородатому властелину. Он оказался слабейшим в борьбе за жизнь и проиграл, причем с полным основанием мог считать, что хорошо отделался.

## 11

Листья совсем почти облетели с берез и осин, лежали на земле толстым шуршащим ковром, птицы сбивались в стаи, малина кончилась, пошли обильные грибы и начались первые утренние заморозки, когда Тедди, перевалив через множество холмов и сбившись вправо от большой реки, вдоль ее притока, вышел как-то утром на широкую поляну.

Внизу бежал ручей, тихонько гудели огромные сос-

ны, доцветали последние ромашки, жадно глядящие на бессильное солнце. Берег ручья во многих местах состоял из мягкого золотистого песка со следами пурхавшихся в нем тетеревов. Мелодично и бесконечно динькала вода, и Тедди, остановившийся на поляне, понял вдруг, что нашел землю обетованную и наконец-то пришел в страну своего детства. Больше его никуда не манило, никуда не хотелось идти, путешествие его было окончено.

Нет, нет, это не была его родина! Но здесь все было точно так, как было давным-давно, когда Тедди еще не имел имени, а был просто маленьким глупым медвежонком, когда он объедался муравьями и земляникой и мать полоскала его в ручье, держа за шиворот, а потом длинным розовым языком крепко растирала его надувшийся живот. То были прекрасные, невыразимо счастливые дни, и сейчас Тедди как бы вновь вернулся туда... Но это было, конечно, не так. Нет, детство затерялось где-то в смутной дымке времени, не вернется, не придет, не вспыхнет солнечным блеском и зеленой травой. Стать бы ему опять маленьким, найти бы ему свою мать, угреться бы под ее мягким, теплым боком! Как жаль, что это невозможно...

Передвигаясь днем и ночью, Тедди постепенно обходил этот край, отмечая для себя границы своих владений. Он исследовал ручьи, болота, овраги, потные луга, опушки и глухие места. Он встречал в изобилии следы волков, лосей, белок, выдры, зайцев. К одним он относился равнодушно, другие раздражали его, и он принимался копать и разбрасывать землю или обдирать кору, чтобы заявить свое право на землю и лес и даже на самый воздух.

Глухари и тетерева, взметая сухие листья, с крепким звуком взлетали у него из-под носа, но теперь ничто не удивляло его, и он принимал все как должное и давно знакомое. Он не внюхивался больше с беспокойством и любопытством в след, оставленный каким-нибудь животным. Он просто мимоходом отмечал для себя: «Вот здесь прошли лоси. Их было три». Или: «Пробежала лиса. Она очень торопилась и несла в зубах куропатку».

Шуба его приняла оттенок ореха, отросла и стала пушистой и блестящей. Лапа больше не болела, и он

теперь пускал ее в ход, когда нужно было вывернуть пенек или перевернуть упавшее тяжелое дерево. Он очень много ходил, подгоняемый страшным аппетитом. Но здесь всего было вдоволь, и он часто испытывал наслаждение, чувствуя себя как никогда свободным и сильным.

Великая вещь свобода!

Можно встать когда хочешь и идти куда глаза глядят!

Можно остановиться и долго провожать взглядом пролетающий над рекой караван гусей; можно подняться на холм, открытый всем ветрам; там слышны все запахи — выбери для себя любой, иди туда, куда он зовет тебя!

Можно забраться в чащу, где так много сухих деревьев, дуплистых и изъеденных червем, и, наслаждаясь своей могучей, свободной силой, валить эти деревья — сухие, мертвые, они будут падать с таким жалким треском!

## 12

Пришел ноябрь — месяц крепких заморозков, — и начался осенний гон лосей. Бродя по холмам, Тедди с раздражением прислушивался к их реву. Несколько раз он видел издали лося-великана с большими рогами. Тот, потеряв всякую осторожность, ходил по мелко-лесью, взбирался на сухие гривы, храпел и почти безостановочно трубил. Медведю все меньше нравилось это шумное соседство. Тедди, зверь осторожный, иногда забывался и шумел, но постороннего шума терпеть не мог и скоро возненавидел лося, как когда-то возненавидел медведя.

Однажды он наткнулся на свежие следы лосей и тотчас понял, что это давешний великан с лосихами. В этот день Тедди был особенно зол, желание прогнать нахала сразу охватило его. С яростью разбросал он лосиный помет и быстро пустился по следу. Поднявшись на гриву, он потерял след, опять спустился, сделал большой полукруг и снова почуял лосей. Скоро он увидел их. Они кормились в реденьком осиннике, дотягиваясь бархатными губами до самых нежных веток.

Тедди рывкнул и полез к ним. Лосихи шарахнулись и помчались вниз громадными прыжками, а лось-самец неожиданно захрапел и двинулся навстречу медведю. Конечно, в другое время он не задумываясь последовал бы за лосихами. Теперь же, после многих побед, он смело пошел навстречу врагу, и они сошлись на поляне. Тедди сердито заревел. Лось ответил храпом с придыханиями. Вся кожа его дрожала от жажды боя, глаза налились кровью, ноздри трепетали, и легкий парок от дыхания сносило ветерком. Он был в самом расцвете сил, с огромными лопастями рогов, мощной шеей и легким вислым задом.

Тедди, не ожидавший такой встречи, опешил. Он не испугался, он только приостановился, раздумывая, как бы удобнее броситься.

Но лось, по-своему истолковавший эту заминку, вдруг нагнул голову, всхрапнул и кинулся на медведя. Тедди не успел отскочить, и удар сбил его с ног. Тотчас лось поднялся на дыбы, и тут, может быть, и закончилась бы жизнь Тедди, попади ему лось по голове. Но лось не попал в голову, как метил, а попал по плечу. Крепкая медвежья кость, выдержала, не сломалась, но где уж теперь драться, только бы живым уйти!

Увидев, что не попал, как хотел, лось опять вскинулся, но Тедди откатился, и лось на этот раз вовсе промахнулся. Тогда лось нагнул голову и ринулся, как в первый раз. Тедди увильнул и отскочил за куст, а лось не мог сразу остановиться. Когда же он повернул за медведем, тот, хромая, что было сил улепетывал вниз.

Победа, небывалая победа досталась красавцу лосю, но ему теперь мало было этого, ему хотелось уничтожить врага или прогнать его далеко. И он помчался следом, легко догнал и еще несколько раз успел ударить на ходу. Потом, будто что-то вспомнив, вдруг остановился и, фыркая, вернулся назад, к лосихам. А несчастный Тедди, весь избитый, забрался в густейший бурелом и долго стонал и сопел, переживая позор своего поражения. Недавно его прогнал бородатый медведь, теперь выживает лось... Хуже всего было то, что ему теперь нужно было опасаться вообще всех лосей: раз его побил один лось, значит, может побить и другой... Жизнь его с этого дня стала несносной. Как на зло, следы лосей попадались ему все время. Шел ли он

за брусникой, или к муравейнику, или к ручью напиться, — встретив следы, он тотчас сворачивал и уходил.

Но безвыходное положение продолжалось недолго. В нем вдруг проснулись все его дикие предки и свирепо требовали, чтобы он нашел врага и убил его. Он стал кружить по лесу, выслеживая лося, яростно драл когтями землю и деревья, заявляя о своем владычестве, устраивал засады, в которых на долгие часы замирал совершенно неподвижно. Один раз, найдя много свежих лосиных следов у ручья, он залег в кусты и стал ждать.

Он лежал, прикинувшись к земле, и смотрел меж веток на тропу. Всюду толстым слоем лежали сырые желтые листья. Деревья были голые, и густые темные елки особенно явственно выступали в поредевшем, полупрозрачном лесу. Утром хватил заморозок, но теперь оттаяло. День был хмурый, холодный.

Во второй половине дня наверху послышался легкий хруст и пофыркивание. Тедди поднял голову и потянул воздух: пахло лосями. Уши его прижались, шерсть на загривке поднялась. Он прижался к земле и подобрал под живот задние лапы. Раза два лоси останавливались. Что они делали — прислушивались или срывали ветки какие-нибудь, — этого Тедди не знал, он терпеливо лежал. Наконец из-за кустов показались рога, а потом и сам лось. За ним шли три лосихи. Они остановились, внимательно посмотрели вниз, прядая ушами, потом стали спускаться к водопою: впереди лось, за ним — лосихи.

Все-таки лось зачуял медведя и сразу стал как вкопанный. Тедди выскочил из засады с глухим ревом. Лось всхрапнул и бросился на медведя. Тот успел отскочить и цапнуть лапой лося за бок. Удар когтистой лапы был, казалось, легким, мимолетным, но кожа на боку была сразу сорвана, и показалась кровь. Почуввав запах крови, Тедди озверел. Впервые в жизни захотелось ему рвать живое мясо, услышать предсмертный хрип жертвы. Лось между тем повернулся и опять бросился. Медведь был тяжел, но ударом мощных рогов лось отбросил его, как котенка. Тедди покатился, как и в прошлый раз, но теперь на шее лося закровянилась новая рана. Тедди вскочил и издал свой самый великий рев, всколыхнувший все его тело, и прыгнул на ло-

ся, норовя наброситься сбоку, так как понял, что рога — такое оружие, против которого он бессилен.

Они продолжали биться, вырывая жухлую мокрую траву и землю, ломая все вокруг себя, но лось явно слабел. Кровь брызгала у него из многих ран, и на холоде он весь дымился. Наконец Тедди удалось прыгнуть на него сбоку. Он вцепился в мощный загривок, одновременно задними лапами раздирая лосю бок. Затем, держась левой лапой и зубами за загривок и рыча сквозь стиснутые зубы, Тедди с силой ударил правой лосю по шее и еще потянул вниз, разрывая позвонки, и лось повалился. Медведь разодрал ему грудь, но и с разорванной грудью и сломанной шеей лось еще пытался подняться и сбросить медведя — так он был силен! Урча и кашляя, глотал Тедди кровь мертвого уже врага и не скоро опомнился.

Потом медведь, поминутно рыча, ушел в лес, но вернулся и попытался утащить лося. Тащить было тяжело и неловко, тогда он стал заваливать лося валежником. Закидав кое-как мертвого врага и изрыв вокруг землю, он ушел окончательно. Его никто не учил этому, и прежде он никогда не делал этого, но теперь он знал, что так надо.

Через два дня, уже забыв про лося, Тедди случайно проходил мимо, когда ветер донес до него сладковатый запах. Он тотчас вспомнил все, пришел и наелся. Еще раньше у лося побывали волки — Тедди узнал это по следам, оставленным ими, и поэтому никуда не ушел, а уснул поблизости.

Целую неделю он приходил к лосю и спал тут же, чувствуя, что теперь он властелин всего, что вокруг, и что его территория так же неприкосновенна, как территория бородатого медведя.

Но прошло какое-то время, и в последний раз, как застарелая рана, Тедди охватила тоска по человеку. Сила, еще более могучая, чем инстинкт, погнала его вдруг из леса. И он точно так же, как недавно искал уединения и свободы, теперь стал искать встречи с человеком.

Четыре дня шел он к юго-востоку, пока наконец не вышел на открытое место. Перед ним был огромный пологий холм. На холме ярко зеленела озимь, а около опушки, где остановился Тедди, лежал тракт, часто катили автомашины или медленно проезжали на телеге.

Тедди стоял на опушке, приподнявшись на задних лапах, и раскачивался в тоске по человеку. Но ему не просто был нужен человек, а только могучий человек в белых панталонах. Ему нужно было, чтобы тот подошел и почесал бы ему за ухом и сказал ласково: «Тедди!» — и положил бы своей крепкой рукой кусок сахара ему в пасть.

И так долго стоял медведь, совсем не прежний Тедди, как бы вновь постигая великий, таинственный смысл жизни и одновременно навсегда уже прощаясь с прошлым. Он не вышел на дорогу к людям и не выкинул ни одной из тех уморительных штук, которым научился в цирке. Он безмолвно тосковал. Потом как будто повернулось что-то в нем, будто свалилась с него последняя тяжесть, последняя нить, связывавшая его с людьми, порвалась, и он ушел обратно в лес. Через четыре дня он был снова у себя.

Становилось холоднее с каждым днем. Тедди теперь спал много и ходил редко. По утрам маленькие озера и старицы затягивались звонким ледком. Голод, всегдашний руководитель Тедди, отступил вдруг на задний план, что-то другое все сильнее беспокоило его. В цирке Тедди не давали спать зимой — он должен был выступать. Но здесь он подчинялся лесным законам, законам природы. Он хотел спать. Он все ходил, словно примериваясь, но все казалось ему то неудобно, то открыто.

Однажды ночью выпал снег, и утром было бело, далекие холмы просвечивали, как сквозь дымку, и Тедди еще сильнее захотелось спать. Даже собственные следы на снегу не удивили его.

Раз он устроился под елкой на сухих листьях и проспал три дня, но потом проснулся и снова побрел куда-то, с тоской поглядывая на оживленных, черных на белом снегу ворон.

Наконец он нашел то, что было ему нужно. Это была глубокая яма, засыпанная палым листом и хвоей. Сверху она заросла кустами; кроме того, на нее как

раз повалилась спиленная ель. Ель когда-то спилил человек, отпилил себе верхушку, а комель оставил. Хвоя с лап осыпалась в яму, но лапы и без того были так густы, что, когда Тедди забрался под них, он почти не увидел неба. Но ему все было нехорошо. Он опять вылез, стал таскать и наваливать сушнику сверху и только к вечеру залез внутрь. Там он ворочался долго, никак не мог лечь, чтобы было удобно, наконец улегся, и ему показалось, что хорошо, и он начал вылизываться.

Понемногу темнело, шел неслышный снег, и, когда совсем стемнело и снег на вершинах сосен потерял свои последние краски, Тедди уснул.

Что снилось ему?

Снился ли цирк и долгая жизнь артиста, разделенная как бы надвое темнотой коридора и ослепительным светом манежа? Снились ли переезды, вагоны, стук колес, запахи угля и бензина, люди, смеющиеся и яростно кричащие, и человек в белых панталонах?

Или снилась новая, свободная жизнь, сладкие муравьи, звенящие холодные ручьи, страшная гроза, выстрелы, медведь, прогнавший его, битва с лосем?

Снилось ли ему детство? Прилетали ли к нему в берлогу нежные, зовущие, мудрые запахи леса?

Кто знает!

Он не проснулся ни на другой день, ни на третий... Снег все сыпал, и с каждым днем пушистей становились кусты, непролазней тропы, белее сосны и ели, и только березы оставались голые, и на них подолгу засиживались вечерами тетерева. Ударили лютые морозы, и пошла гулять по лесам настоящая зима!

А сон Тедди становился все глубже, дыхание было все реже, пар уже не клубился над ямой, и скоро заваленную снегом берлогу можно было угадать только случайно, по небольшой отдушине-жерлу и желтоватому инею на сучьях.



## СОДЕРЖАНИЕ

Арктур — гончий пес . . . . .	3
Никишкины тайны . . . . .	23
✓ Тихое утро . . . . .	37
Ночь . . . . .	50
✓ Розовые туфли . . . . .	64
Тедди . . . . .	85

Для среднего и старшего возраста

Казаков Юрий Павлович

*Арктур — гончий пес*

Ответственный редактор Р. Н. Ефремова. Художественный редактор С. К. Пушкина. Технический редактор Т. Д. Юрханова. Корректоры Е. Б. Кайрукштыс и Л. М. Короткина. Сдано в набор 29/III 1966 г. Подписано к печати 23/V 1966 г. Формат 84×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Печ. л. 3,5. Усл. печ. л. 5,88. (Уч.-изд. л. 5,76). Тираж 75 000 экз.

ТП 1966 № 315. Цена 27 коп. на бум № 3.

Издательство „Детская литература“. Москва, М. Черкасский пер., 1.

---

Фабрика „Детская книга“ № 1 Росглавполиграфпрома Комитета по печати при Совете Министров РСФСР. Москва, Суздальский вал, 49. Заказ № 3980.

Цена 27 коп.